

Повесть
Альбер Камю

НЕЗНАКОМЕЦ

L'Etranger

НЕЗНАКОМЕЦ

Альбер Камю

НЕЗНАКОМЕЦ

(L'Etranger)

Перевод
Георгия Адамовича

Editions Victor
Paris

© 1942 - Editions Gallimard

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Роман Камю «L'Étranger» переведен на русский язык поэтом и литературным критиком Георгием Викторовичем Адамовичем. В свое время Г. В. Адамович входил в группу поэтов-акмеистов, возглавлявшуюся Н. С. Гумилевым.

В двадцатых годах в издательстве Всемирной Литературы, которым заведовал Горький, Г. В. Адамович переводил на русский язык французских и английских поэтов и в частности полностью перевел поэму Байрона, «Странствования Чайльд Гарольда».

Литературный дар Георгия Викторовича Адамовича, его заслуги как поэта и критика и его блестящее знание русского и французского языков побудили издательство обратиться именно к нему с просьбой о переводе романа Камю.

Предисловие

До появления небольшого романа «L'Étranger» имя Альбера Камю не было почти никому известно.

Роман этот, — название которого я передаю словом «Незнакомец», объясняя дальше причины, побудившие меня предложить перевод несколько вольный, — вышел в свет в 1942 году и не только поставил Камю в ряд крупнейших современных французских писателей, но и дал ему в этом ряду свое, особое место. Определить, охарактеризовать в нескольких словах это место было бы не легко. «Властитель дум»? Нет, не совсем то, и пожалуй эту пушкинскую формулу правильнее было бы отнести к тому писателю, с которым Камю постоянно сопоставляли, в особенности до их резкого идейного расхождения: к Жан-Полю Сартру. Камю принес в литературу не столько новые мысли, сколько новый тон, забытое, исчезнувшее из литературного обихода доверие к каждому своему утверждению, к каждой написанной фразе. Это несомненно самая существенная черта его творческого облика: нельзя было не почувствовать, что в противоположность большинству своих собратьев, автор «Незнакомца» пишет не для того, чтобы блеснуть, обратить на себя внимание, удивить, заин-

триговать, очаровать, а для того, чтобы оставаясь художником, по мере сил помочь себе и другим разобраться в жизни, вникнуть в ее противоречия, устранить те из них, которые возникли по общей нашей вине. Время было тогда тяжелое, темное, война еще не достигла своего перелома, смущение умов было гораздо сильнее, чем многие теперь стремятся представить это. Внезапно раздался голос, всех заставивший насторожиться, ни на какой другой не похожий: было в нем что-то, напоминавшее некоторых великих писателей прошлого, и напоминавшее тем, что в голосе этом звучали сомнения, недоумения и надежды тысяч и тысяч людей, которые сами были бы бессильны их выразить. Литературные критики могли по инерции или по профессиональной рассеянности заняться разбором «Незнакомца» на привычный для них лад, указывая, например, на достоинства или недостатки в развитии фабулы, делая те или иные стилистические замечания. Но довольно скоро стало ясно, что «Незнакомец» — не просто одна из удачных, оригинальных повестей текущего литературного сезона, а своего рода явление и даже событие: событие в том смысле, что явился в литературу человек, способный возвеличить ее значение как насущного дела, как разгадки или хотя бы отражения загадок бытия, — при том без всякого высокомерия, без всякой претензии на учительство, — как беседы с теми, кто бредет по жизни, сам не зная куда. С каждой новой книгой положение Камю упрочивалось. С каждой новой книгой он становился нужнее и дороже бесчисленным своим читателям, французским или иностранным, — пока в 1960 году, вскоре после присуждения ему Нобе-

левской премии, автомобильная катастрофа не оборвала его жизни. Гибель писателя в полном расцвете сил многими была воспринята как подтверждение той «абсурдности» существования, о которой Камю настойчиво говорил. Действительно, утраты более тяжелой французская литература понести не могла.

Бесспорно, духовный облик Камю обрисовался с совершенной отчетливостью не сразу, а лишь после выхода таких его книг, как «Чума» и «Падение», а отчасти и с развитием его публицистической деятельности. «Незнакомец» был в сущности только залогом того, что автор его призван сыграть во французской литературе роль очень большую. Но залог был верный и обещание оказалось полностью оправдано.

В старой русской критической литературе нередко ставился, в связи с какой-либо книгой, вопрос несколько наивный по форме, однако, далеко не бессмысленный и напрасно осмеянный: что писатель хотел сказать? Да, художественные образы не поддаются переложению в логически ясные суждения, и естественно было бы ответить, что «писатель хотел сказать то, что сказал». Но что он сказал? Намерен ли он был только развлечь читателя, дать ему возможность отдохнуть за книгой от повседневных хлопот, от житейской суеты сует? Озабочен ли он был, слагая прекрасные стихи или мастерски развивая фабулу романа, мыслью о том, к чему приводит, к чему может привести встреча человека лицом к лицу с судьбами, от которых по трагическому стиху Пушкина «защиты нет»? В большинстве книг, навсегда удержавшихся в истории литературы, в книгах запомнившихся людям, ответ, пусть и смутный,

на такие вопросы дан. На крайность можно в них найти лишь попытку дать ответ, лишь понимание, что ответ необходим, — и книги Камю именно тем и выделяются в современной, более или менее талантливой, более или менее интересной и блестящей литературной продукции, что эта попытка, это понимание одушевляют их неизменно.

Что рассказано в «Незнакомце»? Думаю, у всякого непредубежденного читателя, после того, как он закрыл книгу, должно возникнуть чувство, что Мерсо, герой повествования, ни в чем не виновен, хотя он и убил человека тоже ни в чем не виноватого. Если Мерсо осужден, если он по установленному выражению должен «платить свой долг обществу», значит то общество, которое такого платежа требует, организовано грубо и почти бесчеловечно, несмотря на весь свой внешний лоск. Если суд приговаривает Мерсо к смертной казни, значит в этом суде нет того милосердия, того внимания к человеку, той правды, которым полагается в нем царить. В «Незнакомце» дана лишь карикатура суда, с глупым, хотя и добродушным адвокатом, с прокурором заранее готовым на любые ухищрения и уловки ради личного торжества в процессе, но за этой карикатурой есть в книге Камю упрек, обращенный дальше, выше, к тому, с чем наша цивилизация свыклась и с чем она мирится. Мерсо — преступник, но Мерсо и жертва: в этом смысле, т. е. в раскрытии этой очевидной, хотя и противоречивой истины, в создании типа невинного убийцы, в понимании того, как часто «от судебных защиты нет», «Незнакомец» — книга внутренне религиозная, пусть Камю и был всякой церковности

чужд. Дело ведь не в исповедании каких либо догматов, а в ощущении безвыходной и безжалостной житейской неразберихи, от столкновения с которой никто не застрахован.

Тут надо бы сделать указание, которое для русских читателей Камю, думаю, особенно существенно. В основном, углубленном своем содержании «Незнакомец», — как и все другие книги того же автора, — продолжает по прямой линии идейное и моральное вдохновение былой, великой, к сожалению умолкнувшей русской литературы, и не случайно в рабочем кабинете Камю, как он сам рассказал, было только два портрета: Толстого и Достоевского. Не будем, однако, поддаваться патриотической заносчивости и связанным с ней иллюзиям: западная литература в различных своих национальных разветвлениях, конечно, не менее велика, не менее глубока, чем литература наша, и оспаривать это никто из русских, не одурманенных патриотическим «квасом», — изготовленным по прежним или новейшим рецептам, — надеюсь, не станет. Но ощущение неправоты веками устоявшегося бытового уклада, иное, более широкое, более вольное представление о справедливости, о добре, о зле, даже о преступлении, о воздаянии, все это принесла литература русская, и не только художественными ее достоинствами, а именно этим ее духом объясняется длительное волнение возникшее в конце прошлого столетия на Западе, после знакомства с ней, в частности после выхода книги Мельхиора де Вогюэ о «Русском романе». Впечатление было похоже на толчок: не спите, очнитесь, оглянитесь вокруг, вдумайтесь в то, как все мы живем, в то, что считаем нормальным и не-

обходимым. С тех пор, однако, впечатление ослабело, книги, его вызвавшие, стали предметом солидных, обстоятельных литературных исследований, все вошло в обычную колею, да и могло ли быть иначе? Но Камю вспомнил то, о чем другие забыли, и как бы принял к исполнению, к творческому продолжению то, что другим кажется несбыточной, пусть и прекрасной мечтой.

В «Незнакомце» есть эпизодическое лицо по имени Селест, хозяин маленького ресторана, где Мерсо, приятельствующий с ним, обычно завтракает. Во время судебного процесса Селест выступает в качестве одного из свидетелей. Председатель спрашивает его, что он думает о преступлении своего клиента. Селест этого вопроса ждал, по-видимому к нему готовился, но говорить он не привык и беспомощно повторяет одну и ту же фразу:

— По моему это несчастье. Все знают, что такое несчастье... Так вот, по моему это несчастье.

Председатель суда утомлен, он вероятно торопится, — как его собрат по профессии в толстовском «Воскресении», — и не без раздражения прерывает свидетеля, давая ему понять, что сказанного достаточно.

Эпизод этот сам по себе незначителен, так же, как и роль Селеста в романе. Замечательно, однако, то, что в одном из данных им интервью, чуть ли не через двадцать лет после того, как «Незнамец» был написан, Камю назвал незадачливого ресторатора в числе трех созданных им лиц, которые ему «особенно дороги». Трудно не вспомнить при этом всего, что было написано о суде, о воздаянии, о преступниках, — «несча-

стенных», по былому народному русскому выражению, — теми романистами, от которых Камю вправе был вести свою духовную родословную.

Но, конечно, всякий писатель — сын своей эпохи, дитя своего времени, и в силу этого Камю испытал и некоторые другие влияния, особенно в области внешней, технической. Он сам признал, что использовал повествовательные приемы новых американских романистов. Однако, по его мнению, техника эта ведет в тупик. В «Незнакомце», особенно в первой части романа, до заключения Мерсо в тюрьму, она могла ему пригодиться потому, что героем его был человек на первый взгляд лишенный обычных для других людей побуждений, человек «пассивный», ограничивающийся «ответами на задаваемые ему вопросы». Но при более широком ее применении, при отказе от авторского вмешательства в повествование даже в тех случаях, когда повествование не представляет собой монолога, техника эта привела бы к замене живых людей автоматами. Она соответствовала бы той постепенной «механизации», которая по мнению Камю угрожает миру и жизни. Признавая достоинства и заслуги американских романистов, Камю, по собственным своим словам, «готов был бы отдать сто Хемингуэев за одного Стендаля или Бенжамена Констана».

Мерсо, герой «Незнакомца», — отнюдь не автомат, хотя бесспорно это человек странный, на что указывает и название романа. Отличается он от огромного большинства других людей главным образом тем, что не понимает условностей, на которых держится общественная и даже частная жизнь, и потому он никогда

не лжет. Нельзя было бы сказать, что условностей он «не признает»: это могло бы вызвать предположение, что Мерсо с ними борется. В действительности же он о них просто забывает, и живет так, будто их в нашем быту и нет, будто забыли о них и все другие. Жизнь он страстно любит, не предъявляя к ней однако особых требований: море, солнце, не слишком трудная работа, не слишком сильные любовные увлечения, больше ему ничего не нужно. По своему он счастлив, как мог бы быть счастлив первобытный человек. У него нет ни малейшего честолюбия, нет почти никаких отвлеченных интересов. При чтении начальных глав романа возникает впечатление, что Мерсо недоразвит и что умственные его способности не превышают способностей, скажем, двенадцатилетнего мальчика. Камю вероятно не без умысла это впечатление поддерживает, заставляя, например, своего героя в роковой для него день похорон матери твердить, что он очень любит кофе с молоком, повторять и другие пустяки. Но автор «Незнакомца» ждет от читателя творческого сотрудничества и не хочет сразу раскрыть свой замысел. Мерсо говорит о кофе потому, что он в самом деле очень любит его и не понимает, почему такое признание может вызвать усмешку. Впрочем, не только усмешку, а и злобу, возбуждаемую на процессе его безотчетным отказом от какого бы то ни было притворства. Мерсо всегда искренен и правдив, ничуть не заботясь о производимом его словами действии. Люди обычного типа одно скрывают, другое преувеличивают, безотчетно или сознательно стараясь выставить себя в выгодном освещении, и вражда их к Мерсо возникает из-за его отличия от них. Правда,

Мерсо — убийца. Но нет никакого сомнения, что убийство совершено им беспричинно, произвольно, и когда на суде, под сдержанный хохот публики, он говорит, что всему виной было солнце, от истины он ничуть не уклоняется. Нелепое стечение обстоятельств, нестерпимый зной, головная боль, одиночество, растерянность: не будь этого, преступления не было бы, и даже бессовестному лицемеру-прокурору не удалось бы добиться смертного приговора, если бы в качестве самого веского довода не мог он сослаться на бесчувственность Мерсо в день похорон матери. Камю когда-то резюмировал содержание «Незнакомца» такой фразой:

— В нашем обществе всякий человек, который не плачет на похоронах своей матери, рискует быть приговоренным к смертной казни.

Конечно, как утверждение дословное, это неверно, и позднее Камю сам признал парадоксальность своей формулы, дополнив и расширив ее. Мерсо приговорен к смерти потому, что общество чувствует потребность избавиться от чуждого себе элемента. Убийство — лишь удачно подвернувшийся повод для смертного приговора, а не подлинное его основание. Прокурор это понимает, рисует нужный ему, умышленно искаженный портрет Мерсо, пугает присяжных опасностью, угрожающей устоям и основам цивилизованного, благоустроенного государства и добивается решения, которое представляет собой, если вдуматься, нечто много более ужасное, нежели то, что совершил Мерсо. Сослаться в оправдание его на «солнце» было бы во всяком случае невозможно: все в этом приговоре обдуманно, зако-

нено, упорядочено, вплоть до указания, что голова будет отрублена осужденному «именем французского народа».

Главы «Незнакомца», в которых рассказывается о пребывании Мерсо в тюрьме, до и после процесса, бросают на личность его свет более яркий, чем прежде. Мерсо согласен с тем, что сказал в суде его простодушный приятель Селест: произошло несчастье, неоправдываемое и необъяснимое. Он знает, что убив почти что незнакомого ему араба, погубил и самого себя, но не знает, зачем он это сделал. Старого ханжу, судебного следователя, пытающегося обратить его к христианскому раскаянию, слушать ему скучно, и оставаясь верным себе, он и тут отказывается от притворства, хотя притворство могло бы в данном случае облегчить его участь. Особенно драматична встреча Мерсо с тюремным священником в заключительной главе «Незнакомца». Мерсо боится казни, ничуть не скрывает своего животного, неодолимого ужаса перед смертью, но загробные надежды или утешения ему непонятны и даже отталкивают его. Тяжелая, неловкая беседа кончается внезапным взрывом гнева Мерсо и лихорадочной его речью, единственной на всем протяжении романа, в которой он раскрывает свою несколько загадочную, хотя в сущности чистую, ничем еще не испорченную душу. Смысл этой речи: жизнь абсурдна, никто ни в чем невиноват, или если угодно, все виноваты во всем. Священник исчезает. Прекрасная последняя страница романа показывает нам Мерсо человечнее, чем когда бы то ни было. Нет, в сердце его озлобление отсутствует. Нет, вопреки клеветнической болтовне прокурора, мать свою

он помнит. И да будет то, что будет, раз свершиться это должно.

Идея бессмысленности, абсурда, как основы существования, — идея далеко не новая, хотя нельзя отрицать, что Камю по новому ее иллюстрировал и неразрывно связал с настроениями, широко распространившимися в западной духовной культуре нашего века. В романе было уловлено и отражено то, что носилось в воздухе. Не к чему вспоминать Шекспира и макбетовское определение жизни, как «сказки рассказанной идиотом». Не к чему нам, русским, вспоминать Лермонтова с его «пустой и глупой шуткой» или Блока с его «мировой чепухой». Слова поневоле остаются везде те же самые, но содержание слов разнится. Разнится и отношение к содержанию слов. Камю был несколько торопливо причислен к философам и чуть ли не апологетам абсурда, хотя последняя страница «Незнакомца» довольно ясно говорила о том, что успокоиться на этом своем убеждении и принять его без поисков выхода автор не в силах. Почти одновременно с романом и как бы в теоретическое дополнение к нему, Камю выпустил очерк под названием «Миф о Сизифе», где развивал мысли близкие тем, которые заложены в «Незнакомце». Казалось, философская его позиция обрисована отчетливо. Замечательно однако то, что в «Мифе о Сизифе» он приводит стих Софокла, утверждающий, что не смотря на тягчайшие испытания, для человека неизбежные, «все прекрасно», т. е. прекрасен мир, прекрасна жизнь, какими они были бы, если бы их не исказили люди, — и приведя этот стих, Камю провозглашает его священной заповедью. Не требовалось большой прони-

цательности, чтобы понять и почувствовать, как мало имеет общего этот молодой писатель с рядовыми преуспевающими литераторами, которые ловят модные темы на лету и со слепым увлечением их разрабатывают, не принимая за них никакой личной ответственности. Камю никогда не играл с огнем. Можно даже сказать больше: он никогда не отступал от того, что представлялось ему истиной, и эта его естественная, бесстрашная «честность с собой» в той же мере окружила его особым ореолом, как и определила его литературную судьбу.

Предисловие к одному из ранних романов Камю не может и не должно превратиться в беглый обзор всей его деятельности, с перечислением произведений, указанием дат и прочим. Но таков характер его творчества, что даже и в подобном предисловии нельзя обойтись без указания на связь первых его опытов с позднейшими писаниями. Иначе и в «Незнакомце» многое осталось бы в тени. Камю непрерывно рос. Он мог сомневаться, отступать, ошибаться, пересматривать свои взгляды, он вовсе не принадлежал к фанатикам-однодумам, но был в его творческом сознании некий образ, которому он остался неизменно верен, — и с риском быть обвиненным в пристрастии к громким словам, надо бы сказать, что этот образ: человек, человеческая личность. Если я только что упомянул об ореоле, окружавшем Камю, то именно это имея в виду.

Человек — величайшая ценность: нет утверждения более избитого, более распространенного и вместе с тем вызывающего большее безразличие. На словах все согласны: дороже, важнее человека нет в мире ничего.

На деле... но надо ли напоминать все то, что в нашем столетии произошло? Не были ли мы свидетелями чудовищных насилий над личностью, то во имя далеких, призрачных идеалов, то даже без всякого разумного оправдания? Камю с первых написанных им страниц стал на страже, принял отстаивание человека, как задание, не допускающее сделок с совестью, — и остался непоколебим. Отстаивание это на протяжении лет выразилось в разных формах, и художественных, и публицистических. Нередко оно уходило глубже, к самым корням бытия, к вопросам, которые повелось у нас называть «проклятыми». В романе «Чума», например, умирает в страшных мучениях ребенок, очередная жертва эпидемии. Священник успокаивает себя и других благочестивыми соображениям о первородном грехе и неисповедимых путях Провидения. Присутствующий тут же врач гневно возражает ему:

— Но ведь он-то, он во всяком случае ни в чем не виноват, и вы это знаете!

Кто, читая это, не вспомнит двух братьев, двух Карамазовых, сидящих в трактире за чайным столом, и страстные, недоуменные речи одного из них о детских «слезинках», которые могут сделать неприемлемой финальную «мировую гармонию»? Но Иван со своим недоумением обращается к Богу. Камю Бога не упоминает и отношения с религией, точнее с христианством, у него были сложные. Если европейская культура развилась под двумя скрестившимися воздействиями, афинским и иерусалимским, то душа у Камю была скорей афинская, классическая, с тягой к синему морю и солнцу, заслонившими всякие потусторонние видения. Но в своей

моральной чуткости, в нравственной своей несговорчивости он был близок началам христианства, и именно в этом смысле «Незнакомец» — книга, на которой лежит по моему их налет, как бы ни был несчастный Мерсо нетерпим и резок в беседах со следователем или тюремным священником.

Отстаивая человека и его право на жизнь по своему усмотрению от всяких посягательств, Камю отнюдь не был противником государственности в каких бы то ни было ее формах. Наоборот, в поздних своих писаниях он настойчиво и напряженно искал ответа на недоумение, лежащее в замысле «Незнакомца», этой повести о юноше, который стал преступником по случайности и будет казнен по бездушию, безразличию и лицемерию окружающего его общества. Можно ли было, однако, оправдать убийство только на том основании, что произошло оно случайно? Если государство существует, если существовать оно должно, в состоянии ли оно будет когда-нибудь возвыситься до преодоления, до примирения подобных противоречий? Осуществимо ли на деле то, что в размышлении представляется необходимым? «Так что же нам делать?», спрашивал Толстой и готов был спросить Камю. За абсурдным поступком Мерсо, за абсурдной его участью встает вопрос общий, связывающий всех людей, без каких либо национальных или социальных различий. Написать такую книгу мог только романист морально пытливый, прирожденно встревоженный, не способный удовлетвориться обычными, пусть и самыми пышными, литературными лаврами. Камю принес в литературу то, чего в ней с каждым десятилетием становится все меньше и без чего, — как автор «Не-

знакомца» и опасался, — она может превратиться в пустую забаву, каким бы обманчивым глубокомыслием ни была она прикрыта.

Именно требовательная, не согласная на компромиссы совесть придает духовному облику Камю его особую значительность.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ.

P. S. — Несколько слов о переводе «L'Etranger» на русский язык.

Роман написан от первого лица, и если мне хоть сколько нибудь удалось передать неподражаемо-своеобразную интонацию Мерсо, я считал бы, что главное достигнуто. Трудность перевода была в том, что не только интонация, но и самый стиль рассказа иногда резко изменяются. Не будь Камю большим и взыскательным художником, можно было бы предположить, что местами он вмешивается в монолог своего героя и пишет за него. Страница предшествующая убийству, например, имеет крайне мало общего с большинством других глав. Простодушие уступает место сложной, несколько болезненной образности, объясняющейся вероятно растерянностью Мерсо. Надо было в переводе уловить единство одного с другим.

Перевести с совершенной точностью название романа на русский язык невозможно. В предисловии к американскому изданию книги Камю заметил о своем герое, что тот «чужд обществу, в котором живет, и бродит вне его, в околотках частного существования».

Сохранились и другие авторские записи на ту же тему. Например: «Я ни отсюда и ниоткуда. Мир — всего только незнакомый пейзаж, в котором сердцу нет отклика. Л'Этранжэ: кто может сказать, что это слово значит?». «Признаться, что мне чуждо все решительно».

Ближе всего был бы следовательно перевод — «Чужак». Но слова имеют не только смысловое значение, а и окраску, привкус, тон. Разговорное, несколько развязное словечко «чужак» резко расходится со строгим и печальным определением, которое Камю дает своему герою. Названия, составленные именем прилагательным, — «Чужой», «Неизвестный», «Посторонний» или другие, — представляются мне мало уместными из-за их зыбкости, незавершенности, противоречащей лаконизму Камю.

«Незнакомец» — перевод не безупречно точный, не совсем дословный. Но искажения авторского замысла в нем нет, и если Мерсо «бродит вне общества», значит обществу он именно незнаком.

Г. А.

Часть первая

I

СЕГОДНЯ умерла мама. Или может быть вчера, не знаю. Я получил из приюта телеграмму: «Мать скончалась. Похороны завтра. Примите соболезнование». Не совсем ясно. Может быть это было и вчера.

Приют для престарелых находится в Маренго, в восьмидесяти километрах от Алжира. Автобус отходит в два часа, приеду я в конце дня. Таким образом ночь я смогу провести у тела покойной и вернусь завтра вечером. Я попросил хозяина дать мне два дня отпуска. Отказать мне в подобном случае он не мог. Но вид у него был недовольный. Я даже сказал ему: «Моей вины тут нет».

Он ничего не ответил. Я подумал тогда, что напрасно сказал ему это. В сущности извиняться у меня не было причин. Скорей он должен был бы выразить мне сочувствие. Но вероятно он сделает это послезавтра, увидев меня в трауре. Сейчас положение приблизительно такое, будто мама и не умерала. А после

похорон, наоборот, дело будет окончено и все примет оттенок более официальный.

Я уехал с двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Как обычно, позавтракал я в ресторане, у Селеста. Им всем было очень жаль меня и Селест сказал мне: «У каждого из нас мать только одна». Когда я встал, они проводили меня до дверей. Я едва не забыл, что мне надо было подняться к Эмманюэлю, чтобы занять черный галстук и повязку на рукав. У него с полгода тому назад умер дядя.

Пришлось бежать, чтобы не опоздать на автобус. Из-за спешки, из-за беготни я в пути задремал, да надо бы добавить к этому и толчки, запах бензина, отсвечивание неба и дороги. Я спал почти все время. А проснувшись, увидел, что прижимаюсь к какому-то военному, который улыбнулся и спросил, издалека ли я. Чтобы прекратить разговор я сказал «да».

Приют находится в двух километрах от деревни. Я пошел пешком. Маму мне хотелось увидеть сразу же. Но сторож сказал, что сначала я должен явиться к директору. Тот был занят, я немного подождал. Сторож все время болтал, а затем я пошел к директору: он принял меня в своем кабинете. Это был старичок с орденом Почетного Легиона в петлице. Он взглянул на меня своими светлыми глазами. Потом пожал мне руку и так долго держал ее в своей, что я не знал, как ее выпростать. Перелистав какие-то бумаги в папке, он сказал мне: «Госпожа Мерсо поступила к нам три года тому назад. Вы были ее единственной опорой». Я подумал, что он в чем-то упрекает меня и начал

объяснять ему положение. Но он меня прервал: «Вам не в чем оправдываться, мой юный друг. Я прочел дело вашей матери. Вы не могли взять ее на свое иждивение. За ней нужен был уход. Заработок ваш не велик. И в конце концов ей здесь жилось лучше». Я сказал: «Да, господин Директор». Он добавил: «Знаете, тут у нее были и друзья, люди ее возраста. С ними у нее были общие стариковские интересы. Вы молоды, с вами ей должно было быть скучно».

Это было верно. Дома мама молчала и, не отрываясь, следила за каждым моим движением. В приюте она сначала часто плакала. Но дело было в привычке. Если бы через несколько месяцев ее из приюта взяли, она тоже принялась бы плакать. Дала бы себя знать привычка. Отчасти из-за этого я в последние годы почти никогда и не навещал ее. Впрочем и из-за того, что даром пропало бы мое воскресение, не говоря уж о необходимости дожидаться автобуса, брать билет и два часа трястись в дороге.

Директор продолжал говорить что-то. Но я его почти не слушал. Потом он сказал: «Вы вероятно хотите видеть вашу мать». Я молча встал и направился за ним к двери. На лестнице он объяснил мне: «Мы перенесли ее в маленькую покойницкую при доме. Чтобы не производить тяжелого впечатления на других. Всякий раз, как один из призреваемых умирает, другие два-три дня нервничают. И тогда нам с ними нет сладу». Мы пересекли двор, где находилось много стариков. Разделившись на маленькие группы, они болтали, но умолкали при нашем приближении. После этого беседа возобновлялась и можно было принять ее за приглу-

шенную болтовню попугаев. У небольшого здания директор со мной простился: «Господин Мерсо, я оставляю вас. Если вам что-нибудь угодно, я у себя в кабинете. В принципе погребение назначено на десять часов утра. Мы считали, что это даст вам возможность провести ночь у гроба скончавшейся. Еще два слова: мне передали, что ваша мать не раз выражала другим пансионерам желание быть погребенной по церковному обряду. Я взял это на себя и сделал все необходимое. Но мне хотелось поставить вас в известность об этом». Я его поблагодарил. Мама, хоть и не была атеисткой, никогда в течение своей жизни о религии не вспоминала.

Я вошел. Помещение было очень светлое, выбеленное известью, со стеклянным потолком. Стояли стулья и несколько козел сбитых крест-на-крест. На двух козлах находился закрытый гроб. Блестящие винты были едва вверчены и выделялись на крашенных под орех досках. Около гроба сидела санитарка, видимо арабского происхождения, в белом переднике с рукавами и пестрой косынке на голове.

В это мгновение сторож оказался за моей спиной. Он очевидно спешил и слегка заикался. «Гроб мы закрыли, но я отверчу винты, чтобы вы на нее взглянули». Он уже взялся за гроб, но я его остановил. «Не хотите?», спросил он. Я ответил: «Нет». Сторож отошел, а я был смущен, чувствуя, что не следовало говорить этого. По прошествии нескольких секунд он взглянул на меня и спросил: «Отчего?». Я сказал: «Не знаю». Теребя седые усы и не глядя на меня, он сказал: «Понимаю». У него были прекрасные светло-синие глаза

и красноватый цвет лица. Он пододвинул мне стул, а сам сел сзади, чуть-чуть в отдалении. Сиделка встала и направилась к выходу. Сторож сказал мне: «У нее язва». Я сначала не понял, но взглянув увидел, что вся голова ее обернута бинтом и что на уровне носа повязка была плоской. Виден был только белый бинт, ничего больше.

Когда она ушла, сторож сказал: «Я вас оставлю одного». Не знаю, какое именно сделал я движение, но он не ушел, а продолжал стоять за мной. Присутствие его меня стесняло. Помещение было залито прекрасным предвечерним светом. Два шершня билось о стекло. Меня клонило ко сну. Не оборачиваясь, я спросил: «Давно вы здесь?». «Пять лет», тотчас же ответил он, будто только и ждал моего вопроса.

Затем он принялся болтать без умолку. Кто бы мог предположить, что он кончит свои дни сторожом в приюте Маренго! Ему было шестьдесят четыре года и был он парижанином. Тут я его прервал: «А, значит вы нездешний?». Потом я вспомнил, что еще до того, как свести меня к директору, он говорил о маме. По его мнению, похоронить ее следовало бы поскорее, потому, что здесь, на этой равнине, дни стоят жаркие. Тогда же он сказал мне, что прежде жил в Париже, где все было ему больше по душе. В Париже покойников оставляют у себя три, а то и целых четыре дня. Здесь это невозможно. Не успеешь свыкнуться с мыслью о случившемся, как уже приходится идти за колесницей. Жена его тогда сказала: «Замолчи. Им неприятно, что ты говоришь о таких вещах». Старик покраснел и извинился. Я вмешался и сказал: «Нет, нет, почему?». То,

что он говорил, было на мой взгляд и правильно, и интересно.

В покойницкой он сказал мне, что поступил в приют, как неимущий. Однако, будучи еще крепок, он предложил свои услуги в качестве сторожа. Я заметил, что в сущности он тоже пансионер. Он сказал, что это не так. До этого я уже успел обратить внимание на то, что говоря о призреваемых, среди которых были люди не старше его, он называл их «другие», «они», или иногда «старики». Разумеется, разница была. Он был сторожем и до известной степени начальством для них.

В эту минуту вошла сиделка. Сумерки быстро сгущались. Над стеклянным потолком было совсем темно. Сторож повернул выключатель и внезапная вспышка света ослепила меня. Он пригласил меня к обеду в столовую. Но я не был голоден. Тогда он спросил, не принести ли мне чашку кофе с молоком. Я очень люблю кофе с молоком и согласился. Он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Мне захотелось курить. Но я сомневался, удобно ли это при маме. Подумав, я пришел к заключению, что это не имеет никакого значения и предложил папиросу сторожу. Мы закурили.

Через несколько времени он сказал: «Знаете, друзья вашей покойной матушки тоже придут сюда на ночь. Таков обычай. Я пойду принесу стулья и черный кофе». Я спросил его, можно ли выключить одну из ламп. Отблеск света на белых стенах утомлял меня. Он сказал, что это невозможно. Так была сделана проводка: все или ничего. Больше я не обращал на него внимания. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На одном из

них он поставил кофейник и чашки. Потом сел против меня, по другую сторону мамы. Сиделка была в глупине, спиной к нам. Мне не было видно, что она делала. Но судя по движению ее рук, я решил, что она вяжет. Было тепло, от кофе я согрелся, сквозь открытую дверь пахло ночью и цветами. Кажется, я задремал.

Разбудил меня шорох. Сила света и белизна стен показались мне еще ослепительнее. Не было ни малейшей тени и каждый предмет, каждый угол, каждое закругление обрисовывались с четкостью, от которой болели глаза. В эту минуту вошли мамины друзья. Их было человек десять, они бесшумно скользили в невыносимо ярком освещении. Ни один стул не заскрипел, пока они рассаживались. Я видел их так ясно, как никогда еще никого, и ни одна черта их лиц или их одежды не ускользала от меня. Не слышал я однако ни звука и мог бы принять их за призраки. Почти все женщины были в передниках и шнурки, стягивавшие их по талии, подчеркивали выпуклость их животов. Прежде я никогда не замечал, до какой степени у старух выдаются животы. Мужчины были почти все очень худы, с палками в руках. Поразило меня в их лицах то, что вместо глаз виднелось только что-то тускло светящееся в окружении бесчисленных морщин. Рассевшись, многие из них поглядели в мою сторону и смущенно покачали головой с провалившимся, беззубым ртом. Трудно было понять, кланяются ли они мне или это было движение произвольное. Думаю, что скорее они кланялись. В это мгновение я обратил внимание, что все они со своими трясущимися головами и со сторожом по середине сидят прямо против меня. Как это ни было

нелепо, мне вдруг показалось, что собрались они здесь, чтобы судить меня.

Немного спустя одна из женщин принялась плакать. Она сидела во втором ряду, за другой женщиной, и видел я ее плохо. Она слабо и равномерно всхлипывала и, казалось, не остановится никогда. Другие как будто не слышали ее. Сидели они, понурясь, молча и хмуро. Один смотрел на гроб, другой на свою трость, или в одну точку, ничего не видя иного. Женщина все плакала. Меня это тем более удивляло, что я ее не знал. Мне хотелось, чтобы она умолкла. Но сказать ей это я не решался. Сторож наклонился к ней и шепнул несколько слов, но она, покачав головой, что-то пробормотала и продолжала так же равномерно всхлипывать. Сторож подошел ко мне и сел рядом. После довольно долгого молчания он, глядя в сторону, сказал: «Она была очень дружна с вашей покойной матушкой. Она говорит, что это была ее единственная подруга и что теперь у нее нет больше никого».

Так прошло довольно много времени. Вздохи и всхлипывания женщины стали стихать. Она сильно сопела и наконец умолкла. Спать мне больше не хотелось, но чувствовал я себя утомленным и у меня ломило в спине. Угнетало меня молчание всех этих людей. Время от времени слышался какой-то причудливый звук, но трудно было разобрать, что это. Наконец я догадался, что это тот или иной старик сосет внутреннюю сторону щеки и прищелкивает языком. Они так заняты были своими мыслями, что не отдавали себе ни в чем отчета. У меня даже возникло впечатление, что лежащая перед ними покойница для них ровно ничего не значит. Но

теперь я думаю, что это было впечатление ошибочное.

Мы все выпили кофе поданный сторожем. Что было потом? Не знаю. Ночь прошла. Помню, что я как-то открыл глаза и увидел, что старики, съезжившись, спят, за исключением одного, который оперся подбородком на руку, сжимавшую палку, и пристально смотрел на меня, будто только того и ждал, чтобы я проснулся. Потом я задремал снова. Очнулся я из-за все усиливавшейся боли в спине. Над стеклянным потолком светало. Один из стариков проснулся и сильно закашлялся. Он отхаркивался в большой клетчатый платок и, казалось, с каждым плевком отрывал что-то из груди. Проснулись и другие и сторож сказал, что пора расходиться. Все встали. От утомительной ночевки лица были землистого цвета. К великому моему удивлению, выходя, они один за другим пожали мне руку, будто эта ночь, прошедшая без того, чтобы мы обменялись единым словом, нас чем-то сблизила.

Я чувствовал себя усталым. Сторож повел меня к себе, я умылся, пригладил волосы. Затем я еще выпил кофе с молоком, очень хорошего. Когда я вышел, было уже совсем светло. Все небо над холмами, отделяющими Маренго от моря, было красно. Ветер пролетая над ними, доносил запах соли. День обещал быть прекрасным. Я давно уже не был за городом и чувствовал, с каким удовольствием пошел бы прогуляться, если бы не мама.

Но пришлось ждать во дворе, под платаном. Я вдыхал запах свежей земли и спать мне не хотелось. Я вспомнил о своих сослуживцах. Сейчас они встанут и собираются на работу: для меня это всегда было самое

тяжелое время. Отвлек меня от этих мыслей звон колокола, раздавшийся в здании приюта. За окнами началась возня, потом все стихло. Солнце взошло чуть-чуть выше и стало согрывать мне ноги. Сторож проходя по двору сказал, что директор просит меня к себе. Я пошел в его кабинет. Он дал мне подписать какие-то документы. Я увидел, что одет он был во все черное с полосатыми брюками. Он взял телефонную трубку и обратился ко мне: «Служащие похоронного бюро здесь уже довольно давно. Я скажу им пойти закрыть гроб. Хотите в последний раз взглянуть на вашу мать?». Я сказал: «Нет». Понизив голос, он отдал по телефону распоряжение: «Фижак, скажите людям, что они могут идти».

Затем он сказал, что будет присутствовать на похоронах и я его поблагодарил. Он сел за стол, скрестил ноги и предупредил меня, что мы будем одни с дежурной сиделкой. В принципе, пансионерам не полагалось присутствовать на похоронах. Разрешалось им только провести ночь у гроба. «По соображениям человечности», добавил он. Но в данном случае он сделал исключение для одного старого маминого друга по имени Фома Перэз. Тут директор улыбнулся: «Понимаете, в этом было что-то ребяческое. Но он и ваша мать были неразлучны. В приюте над ними подтрунивали, говорили Перэзу: «Это ваша невеста». Он смеялся. Им это доставляло удовольствие. И в самом деле смерть госпожи Мерсо была для него большим ударом. Я не считал себя вправе отказать ему в разрешении. Но по совету нашего врача, ночевку в покойницкой я ему воспретил».

Довольно долго мы молчали. Директор встал и

глядя в окно заметил: «А вот и священник. Пожалуй рановато». Он предупредил меня, что ходу до церкви, находящейся в самой деревне, не меньше трех четвертей часа. Мы спустились. Перед зданием стоял священник с двумя маленькими певчими. Один из них держал кадило, а священник, наклонясь, проверял длину серебряной цепи. Увидя нас, он выпрямился и сказал мне несколько слов, называя меня «своим сыном». Потом он вошел в покойницкую, а я последовал за ним.

Одним быстрым взглядом я заметил, что винты гроба ввинчены и что в помещении находится четыре человека одетых в черное. В то же мгновение директор сказал мне, что дроги стоят на дороге, а священник начал читать молитвы. С этой минуты все пошло очень быстро. Служители с покрывалом в руках подошли к гробу. Мы все, т. е. священник, певчие, директор и я, вышли. У двери стояла незнакомая мне дама. «Г. Мерсо», представил меня директор. Имени дамы я не расслышал и понял только, что это была представительница сиделок. Не улыбаясь, она наклонила свое длинное и костлявое лицо. Затем мы выстроились, чтобы пропустить тело, последовали за служителями, несшими гроб и вышли за ограду приюта. Перед воротами стояли продолговатые, отполированные, блестящие, похожие на пенал, дроги. Рядом находился распорядитель, небольшого роста, нелепо одетый, и старик, как-то неестественно державшийся. Я понял, что это г. Перэз. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглым дном и широкими полями (он снял ее, когда гроб вынесли за ворота), костюм с потрепанными, смятыми брюками, спускавшимися на башмаки, и черный галстук бантиком,

терявшийся в широком белом воротнике рубашки. Седые, довольно жидкие волосы лежали по сторонам больших, оттопыренных, угловатых ушей, резко выделявшихся на этом белесом лице своим кроваво красным цветом. Распорядитель указал каждому из нас его место. Священник шел впереди, за ним дроги. Вокруг дрог четыре служителя. Позади директор, я, а за нами делегатка от сиделок и г. Перээ.

Солнце стояло уже высоко. Лучи его делались все жгучее, жара быстро усиливалась. Не знаю, почему мы так долго ждали прежде, чем двинуться в путь. Я был весь в темном, мне было жарко. Старик надел шляпу, потом снова снял ее. Я слегка повернулся и смотрел на него. Директор заговорил со мной о нем. По его словам, моя мать и г. Перээ гуляли по вечерам в сопровождении сиделки и часто доходили до самой деревни. Я смотрел вокруг себя. Вглядываясь в кипарисы, которые цепью вели к холмам, упиравшимся в небо, в красноватую и зеленую почву, в редкие, четко обрисованные строения, я как будто понимал маму. Вечера в этом краю должны были быть чем-то вроде меланхолической передышки. Сейчас, наоборот, нестерпимое солнце искажало пейзаж и делало его бесчеловечным.

Мы двинулись. В эту минуту я заметил, что г. Перээ слегка прихрамывает. Дроги ускорили ход и старик стал отставать. Один из служителей тоже слегка отстал и шел на моем уровне. Меня удивляло, с какой быстротой солнце поднималось в небе. В полях без умолку слышался треск насекомых и шелест травы. Потлился по моим щекам. Шляпы у меня не было, я обвее-

вался платком. Служитель сказал мне что-то, но я не разобрал, что.левой рукой он держал платок, которым обтирал череп, правой приподнимал край фуражки. Я спросил его :«Что?». Он повторил, указывая на небо: «Жарит». Я сказал: «Да». Немного спустя он спросил: «Это ваша мать там?». Я опять сказал: «Да». «Она была старая?». Я ответил: «Так себе», потому, что не знал точно ее возраста. После этого, он умолк. Я обернулся и увидел, что старик Перез отстал метров на пятьдесят. Он торопился и болтал руками, в одной из которых держал шляпу. Взглянул я и на директора. Тот шагал с большим достоинством, не делая лишних жестов. Несколько капель пота дрожало на его лбу, но он их не стирал.

Процессия как будто ускорила ход. Вокруг были все те же залитые солнцем поля. Блеск неба был невыносим. В течение некоторого времени нам пришлось идти по недавно отремонтированному участку дороги. Асфальт потрескался от жары. Ноги вязли в нем и оставляли искрящийся на солнце след. Шляпа из дубленой кожи на голове возницы казалась куском той же черной гуши. Все чуть-чуть перепуталось в моей голове: синева и белизна неба, однообразие липкой черноты асфальта, тусклой черноты одежд, отполированной черноты дрог. Усталость после бессонной ночи усиливалась от солнца, от запаха кожи и навоза, политуры и ладана. Я еще раз обернулся: Перез был далеко, его едва было видно в пыльном сиянии солнца, потом он совсем исчез. Я присмотрелся и увидел, что он свернул с дороги и идет полем наперерез. Дорога сворачивала в сторону. Я понял, что Перез, как человек

здешний, скашивает, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом он снова исчез и снова пошел наперерез. Это повторилось несколько раз. Кровь билась в моих висках.

Дальше все произошло с такой быстротой, что мне ровно ничего не запомнилось. Впрочем, нет: при входе в деревню делегатка приютского персонала заговорила со мной. У нее был странный голос, певучий и дрожащий, не подходящий к ее лицу. Она сказала: «Если идешь медленно, рискуешь получить солнечный удар. А если спешить, то вспотеешь и в церкви можешь простудиться». Она была права. И так, и сяк плохо. Припоминаю еще кое что: например, лицо Перэза, когда он в последний раз нагнал нас у входа в деревню. От растерянности и горя крупные слезы дрожали на его щеках. Они расплывались, сливались и влажным блеском покрывали его увядшее лицо. Морщины мешали им стекать. Затем была церковь, деревенские жители, на тротуарах, красная герань на могилах, обморок Перэза (будто распавшийся по частям паяц), кроваво-красная земля, сыпавшаяся на мамин гроб, обрывки белых корней, в ней мелькавшие, еще люди, еще голоса, деревня, стоянка перед кофейней, ожидание, что вот-вот послышится рев мотора, и радость, когда автобус достиг наконец гостеприимных огней Алжира и я подумал, что лягу и буду спать двенадцать часов без просыпу.

II

Проснувшись, я сообразил, почему у хозяина был недовольный вид, когда я попросил его отпустить меня на два дня: сегодня ведь суббота. Я забыл об этом, но вспомнил вставая. Разумеется, хозяин смекнул, что таким образом я буду свободен четыре дня и доставить ему удовольствие это не могло. Но с одной стороны я же не виноват, что маму похоронили вчера, а с другой, так или иначе, суббота и воскресенье всегда в моем распоряжении. Все же я понимаю, что по своему хозяин был прав.

Вчерашняя усталость давала себя знать и встал я нехотя. Бреясь, я обдумывал, как провести день и решил пойти купаться. На трамвае я доехал до портового пляжа и бросился в воду. Было много молодежи. Среди купавшихся я встретил Марию Кардона, мою бывшую сослуживицу, машинистку, которая мне когда-то нравилась. Кажется, я ей тоже. Но она оставила службу и у нас с ней ничего не вышло. Я помог ей взобраться на спасательный круг и как будто случайно коснулся ее груди. Она легла плашмя на круге, я еще был в воде. Волосы падали ей на лицо, она смеялась. Я тоже взобрался на круг и лег с ней рядом. Было тепло, хорошо, и как бы в шутку, я откинулся и положил голову ей на живот. Она ничего не сказала, я не двинулся. Золотое и синее небо слепило мне глаза. Под затылком я чувствовал, как еле слышно вздрагивает живот Марии. Так, в полудремоте, пролежали мы долго. Когда стало слиш-

ком жарко, она нырнула, а я за ней. Я нагнал ее, обнял за талию и мы поплыли рядом. Она все время смеялась. На берегу, когда мы обсушивались, она сказала мне: «Я загорела сильнее, чем вы». Я спросил, не хочет ли она вечером пойти в кино. Она опять засмеялась и сказала, что охотно посмотрела бы фильм с Фернанделем. Когда мы оделись, она с большим удивлением взглянула на мой черный галстук и спросила, в трауре ли я. Я ответил, что умерла мама. Она осведомилась, когда. Я ответил: «Вчера». Она слегка отшатнулась, но не сказала ничего. Я хотел ей объяснить, что моей вины тут нет, но вспомнил, что говорил об этом хозяину. Все это пустяки. Так или иначе, тебя всегда в чемнибудь упрекнут.

Вечером Мария все забыла. Фильм был временами смешной, но правду сказать, слишком глупый. Нога ее касалась моей. Я гладил ей грудь. К концу сеанса я ее поцеловал, но как-то плохо. Мы вышли, она поднялась ко мне.

Когда я проснулся, Марии уже не было. Накануне она объяснила мне, что должна навестить свою тетку. Я вспомнил, что сегодня воскресенье и мне это было досадно: я не люблю воскресенья. Поэтому я повернулся к стене, и вдохнув запах соли, оставшийся на подушке от волос Марии, проспал до десяти часов. Затем я выкурил несколько папирос и лежал до полудня. Мне не хотелось идти, как обычно, завтракать к Селесту, потому что наверно они стали бы задавать мне всякого рода вопросы, а этого я не люблю. Я сделал себе глазунью и съел ее прямо на сковородке, без хлеба, так как хлеба у меня не было, а спускаться было мне лень.

После завтрака я не знал, что делать и бродил без толку по квартире. При маме квартира это была удобная. Теперь, для меня одного, она была слишком велика и обеденный стол я перенес к себе. Я свыкся со своей комнатой, с ее соломенными, слегка продавленными стульями, шкафом с пожелтевшим зеркалом, туалетным столиком, медной кроватью, и поэтому другими комнатами не пользовался. Немного позже, не зная, чем заняться, я взял старую газету и принялся читать. Вырезав объявление о каких-то лечебных солях, я вклеил его в тетрадь, где сохранял то, что показалось мне в газетах забавным. Затем я вымыл руки и уселся на балконе.

Комната моя выходит на главную улицу пригорода. День стоял прекрасный. Но мостовая отсвечивала чем-то жирным, прохожих было немного и казалось, они торопились. Сначала это были семьи, отправлявшиеся на прогулку: два мальчика, довольно неуклюжих в своих новых матросских костюмах с короткими штанишками, и девочка с большим розовым бантом и в черных лакированных туфельках. За ними мать, огромная, в коричневом шелковом платье, и маленький, сухонький отец, которого я знал с виду. На нем была соломенная шляпа, галстук бабочкой, в руке он держал трость. Глядя на него рядом с женой, я понял, почему в околотке о нем отзывались, как о человеке изящном и благовоспитанном. Немного позже прошли молодые люди, тоже местные жители, напомаженные, с красными галстуками, в узких пиджаках с вышитым платочком в боковом кармане и башмаках с квадратными носками. Я решил, что они идут в одно из центральных городских кино. Отто-

го-то они и вышли так рано и спешили к остановке трамвая, хохоча во все горло.

Потом улица мало-по-малу опустела. Вероятно, всюду начались сеансы. Лавочники и кошки, больше не было никого и ничего. Небо над фикусами, стоявшими по обеим сторонам улицы, было чисто, но бледновато. Табачный торговец против моего дома вынес стул, поставил его перед дверью и сел верхом, опираясь обеими руками на спинку. Трамваи, только что проходившие переполненными, были почти пусты. В маленьком кафе «У Пьеро», рядом с табачной лавкой, человек подметал разбросанные в пустом зале опилки. Видно было по всему, что сегодня воскресенье.

Я повернул стул и сел как табачный торговец, решив, что это в самом деле удобнее. Потом выкурил две папиросы, встал за куском шоколада и съел его у окна. Небо потемнело и я подумал, что будет гроза. Постепенно, однако, опять прояснилось. Но от промчавшихся облаков веяло дождем и было уже не так светло. Я долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов послышался грохот трамваев. Со стадиона возвращались сотни зрителей, гроздьями висевших на ступеньках. Со следующим трамваем вернулись игроки, которых я узнал по их чемоданчикам. Они громко пели и орали, что их команда непобедима. Некоторые помахали мне рукой. Один даже крикнул: «Наша взяла!». Кивнув головой, я сказал: «Да». Показались автомобили, и вскоре пошли они сплошной вереницей.

День клонился к вечеру. Небо над крышами стало красноватым, улицы оживились. Гуляющие возвращались

домой. Среди них был и благовоспитанный господин. Дети плакали, иных приходилось тащить за руки. Почти одновременно из распахнутых дверей местных кино хлынули толпы зрителей. Вид у молодых людей был более решительный, чем обычно, и я подумал, что фильм был значит авантюрный. Несколько позднее вернулись зрители и из центральных кино. Они казались задумчивы, а если и смеялись, то сдержанно. Вид у них был слегка озабоченный. Довольно долго они ходили взад и вперед по тротуару против моего дома. Девушки держались за руки и были без шляп. Молодые люди старались попасться им на глаза и изощрялись во всякого рода шутках по их адресу. Те со смехом отворачивались. Некоторых из них я знал и они кивнули мне головой.

Внезапно вспыхнули фонари. Первые звезды, уже мерцавшие в небе, стали еле заметны. Смотрел я на прохожих и на светящиеся вывески по-видимому через чур долго, глаза мои устали. Поблескивала влажная мостовая, огни трамваев попеременно озаряли то чьи-нибудь светлые волосы, то улыбку, то серебряный браслет. Потом трамваи стали проходить реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, людей видно больше не было и первая кошка лениво пересекла опустевшую улицу. Я подумал, что пора обедать. Оттого, что я долго сидел опершись на спинку стула у меня слегка ныла шея. Я спустился купить хлеба, сварил макароны и съел их стоя. Папиросу мне хотелось выкурить у окна, но было довольно свежо и я немного продрог. Я затворил окна, а повернувшись увидел в зеркале край стола, на котором стояла спиртовка и лежали

куски хлеба. Я сказал себе, что вот воскресенье и прошло, мама похоронена, завтра надо идти на службу и что в сущности все осталось попрежнему.

III

Сегодня в конторе у меня было много работы. Хозяин был любезен. Он спросил, не очень ли я устал, и полюбопытствовал, сколько маме было лет. Боясь ошибиться, я сказал: «Лет шестьдесят». Не знаю, почему, он облегченно вздохнул и принял такой вид, будто нечего об этом больше и говорить.

На столе моем накопилась груда дел и надо было их разобрать. Перед тем, как пойти завтракать, я вымыл руки. В полдень это всегда приятно. Вечером я это люблю меньше, потому что висячее полотенце бывает тогда насквозь влажно: в употреблении оно находилось целый день. Однажды я сказал об этом хозяину. Он ответил, что конечно это досадно, но что на подобные пустяки не стоит обращать внимание. Я вышел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эмманюэлем, работающим в экспедиции. Контора находится на берегу моря. Некоторое время мы стояли, глядя на корабли в залитом солнцем порту. В это мгновение, громыхая и потрескивая, прошел грузовик. Эмманюэль подмигнул мне и я бросился бежать. Грузовик нас обогнал, мы мчались за ним. Все тонуло в грохоте и в пыли. Я ничего не видел, ничего не чувствовал, кроме беспорядочной погони посреди лебедек и машин, мимо

пляшущих на горизонте мачт и кораблей. Наконец я схватился за край грузовика и вскочил на ходу. Затем помог взобраться Эмманюэлю. Мы едва дышали, грузовик подскакивал на булыжниках, которыми была вымощена набережная. Эмманюэль не унимаясь хохотал.

Обливаясь потом, мы добрались до Селеста. Он был все тот же: толстый живот, передник, седые усы. «Как дела?», участливо спросил он меня. Я ответил: «Ничего, все в порядке» и сказал, что голоден. Поел я быстро и выпил чашку кофе. Затем я пошел к себе и лег вздремнуть, так как выпил слишком много вина. Проснувшись, выкурил папиросу. Было поздно, я побежал к трамваю. До вечера я работал. В конторе было очень душно, и выйдя я, не торопясь, с большим удовольствием прошелся по набережной. Небо было зеленое, чувствовал я себя прекрасно. Однако, я все же никуда не заходя вернулся домой, потому, что мне хотелось сварить себе картошки.

Поднимаясь я в потемках наткнулся на старика Саламано, моего соседа по комнате. С ним была его собака. Уже восемь лет, как они неразлучны. Собака страдает какой-то кожной болезнью, теряет шерсть и вся покрыта лишаями и коричневыми струпьями. От долгой совместной жизни, вдвоем в маленькой комнате, Саламано стал в конце концов на нее похож. На его лице видны красноватые струпья, волосы его жидки и бесцветны. А собака по примеру хозяина слегка гнется, вытягивая морду и шею. Можно подумать, что они в родстве, хотя терпеть друг друга не могут. Два раза в день, в одиннадцать часов и в шесть, старик выводит собаку гулять. Маршрут их остался за восемь лет не-

изменен. Кто на Лионской улице их не знает? Собака рвется вперед, старик удерживает ее и спотыкается. В конце концов он принимается бить и ругать ее. Тогда собака от страха приседает, еле-еле ползет, и тянуть ее приходится ему. Потом собака забывает о случившемся, снова рвется и снова он начинает бить и бранить ее. Они останавливаются на тротуаре и смотрят друг на друга, собака с ужасом, человек с ненавистью. Это повторяется ежедневно. Собака хочет помочиться, старик не дает ей достаточно времени, тянет вперед и она оставляет за собой длинных след маленьких капель. Иногда она мочится в комнате и старик снова бьет ее. Длится это целых восемь лет. Селест осуждает старика, но не знаю, справедливо ли. При встрече на лестнице Саламано ругал собаку и кричал: «Дрянь! Падаль!», а собака стонала. Я сказал: «Здравствуйте!», но старик продолжал кричать. Я спросил, в чем собака провинилась. Он не ответил, продолжая кричать: «Дрянь! Падаль!». Видя, что он наклонился и поправляет ошейник, я повторил свой вопрос громче. Не оборачиваясь и сдерживая гнев, он ответил: «Никак не подохнет!». Затем стал спускаться, волоча собаку за собой. Та упиралась и повизгивала.

Как раз в это время вошел мой другой сосед. В околотке ходит слух, что живет он на счет женщин. Однако, сам он говорит, что работает кладовщиком. Мало кто любит его. Но со мной он довольно общителен и даже иногда заходит ко мне, очевидно ценя то, что болтовню его я выслушиваю. По моему, рассказы его интересны, да и на каком основании я не стал бы с ним разговаривать? Зовут его Рэмон Сентэс.

Он маленького роста, широкоплечий, с носом, как у боксера. Одет всегда чисто. Глядя на Саламано он тоже что-то проворчал и спросил меня, не противно ли мне такое соседство. Я сказал, что нет, не противно.

Мы поднялись и я уж взялся за свою дверь, когда он сказал: «У меня есть кровяная колбаса и вино. Может быть закусим вместе?». Я подумал, что это избавит меня от стряпни и согласился. У него тоже всего одна комната, с кухней без окон. Над кроватью ангел из белого с розовым гипса, фотографии чемпионов и двух или трех голых женщин. Комната грязная, постель неубрана. Он сначала зажег керосиновую лампу, потом вынул из кармана сомнительной чистоты бинт и перевязал правую руку. Я спросил, что это у него. Он сказал, что подрался с одним парнем, лезшим к нему со всякого рода упреками.

«Видите ли, господин Мерсо, — сказал он, — я человек не злой. Но я вспыльчив. Тот сказал мне: «А ну-ка, сойди с трамвая, если ты не баба». Я сказал ему: «Брось, не дури!». Он сказал, что я баба. Тогда я сошел с трамвая и сказал: «Заткни глотку, или я тебе так двину!». Он сказал: «А ну-ка, попробуй!». Тогда я дал ему в морду. Он упал. Я хотел его поднять, но он оттолкнул меня ногой. Тогда я ударил его коленом и дал две оплеухи. Лицо его было все в крови. Я спросил его, хватит ли с него. Он сказал: «Да». Рассказывая все это, Сентэс возился с перевязкой. Я сидел на кровати. Он сказал мне: «Как видите, начал не я. Нагрубил мне он». Это было верно и я с ним согласился. Тогда он мне заявил, что как раз-то и собирался просить у меня совета по этому делу, что я человек бывалый,

знаю жизнь, мог бы помочь ему и что в таком случае мы станем приятелями. Я ничего не ответил и он спросил, хочу ли я быть его приятелем. Я сказал, что мне все равно, и ответ мой повидимому его удовлетворил. Он достал колбасу, зажарил ее на сковородке, расставил стаканы, тарелки, приборы и две бутылки вина. Все это молча. Мы уселись. За едой он стал рассказывать мне о себе. Сначала он слегка колебался. «Видите ли, я был знаком с одной дамой... это была, так сказать, моя любовница». Человек, с которым он подрался, был братом этой женщины. Он сказал, что содержал ее. Я ничего не ответил, хотя он и добавил, что ему отлично известно все, что говорят в околотке, но что совесть его спокойна и что он работает на складе.

«Дело обстояло так, — сказал он. — Я заметил, что что-то было не совсем чисто». Денег он давал ей в обрез. Сам платил за комнату и давал двадцать франков в день на еду. «Триста франков комната, шестьсот франков еда, ну, время от времени пара чулок, всего выходило около тысячи франков. А сударыня не работала! Но она жаловалась, что ей мало, что ей трудно сводить концы с концами. Я ей говорил: «Отчего ты не работаешь хотя бы полдня? На всякие мелочи тебе хватило бы. Я недавно купил тебе кофточку и юбку, я даю тебе двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты распиваешь кофеи с разными там подругами! Кофе, сахар, все на твой счет. Деньги ведь даю тебе я. Упрекнуть себя мне не в чем, а ты неблагодарна». Но она не работала, она продолжала жаловаться, что ей не хватает и вот в конце концов я и заметил, что дело тут не совсем чисто».

По его словам, он как-то нашел в ее сумочке лотерейный билет и она не могла объяснить, откуда он у нее. Немного позже он нашел ломбардную квитанцию, по которой видно было, что она заложила два браслета. Об их существовании он не знал. «Ясно, она меня обманывала. Тогда-то я с ней и разошелся. Но предварительно, я здорово отколотил ее. Заодно я дал ей понять, что она за дрянь. Я сказал ей, что она ровно ни о чем не думает, кроме как о всем известных штучках. Я так сказал, господин Мерсо: «Разве ты не видишь, что все завидуют тому счастью, которое я тебе даю? Подожди, пройдет время, ты еще пожалеешь о нем!»»

Избил он ее до крови. Прежде он ее не бил. «Так, только изредка, да и то совсем легко. Она начинала кричать. Я затворял ставни и все кончалось как обычно. Но теперь дело другое. По моему я недостаточно наказал ее».

Он объяснил мне, что именно поэтому и нужен ему совет. Лампа коптила, он остановился, чтобы поправить фитиль. Я слушал молча. От вина, — выпил я почти целый литр, — у меня стучало в висках. Папирос у меня больше не было, курил я папиросы Рэмона. Проходили последние трамваи, уносили с собой отдалявшийся шум пригорода. Рэмон продолжал свой рассказ. Досадно ему было то, что «к соитию с ней он испытывал то же влечение, что и прежде». Но надо было ее наказать. Сначала он думал пойти с ней в номера и вызвать полицию, чтобы произошел скандал и ее записали, как профессионалку. Потом он решил поговорить с друзьями из соответствующей среды. Те не придумали ничего. «Стоит ли, скажите, после этого

водиться с такой компанией!», заметил Рэмон. Он им это и сказал и они тогда предложили изуродовать ее шрамом на лице. Но он не этого хотел. Надо было подумать. Однако, сначала у него была ко мне просьба. Кстати, что я вообще думаю о всей этой истории? Я ответил, что не думаю ничего, но что история это занятная. Он спросил, как я считаю, обманывала ли она его, — а по моему обман был вне сомнения, — и думаю ли я, что надо ее наказать, и что я сделал бы на его месте. Я сказал, что решить трудно, но что его желание наказать ее мне понятно. Потом я еще немного выпил. Он закурил и стал откровеннее. Ему хотелось бы написать ей письмо, грубое, оскорбительное, но вместе с тем и такое, чтобы возбудить в ней раскаяние. Она к нему бы пришла, он лег бы с ней и в самый последний момент, «перед тем, как кончить», плюнул бы ей в лицо и вышвырнул бы ее вон. Я признал, что в самом деле наказание это было бы настоящее. Но Рэмон сказал, что написать как следует такое письмо, он не в состоянии и рассчитывает на меня. Я молчал и он спросил меня, не затруднит ли меня сделать это теперь же. Я ответил, что не затруднит.

Он встал, выпил еще стакан вина, отодвинул тарелки и остаток колбасы. Потом тщательно вытер клеенку, которой был покрыт стол. Из ящика стола он вынул листок бумаги в клеточку, желтый конверт, красную деревянную ручку и квадратную чернильницу с фиолетовыми чернилами. Судя по имени женщины, это была мавританка. Я составил письмо. Написал я его как попало, однако все же старался угодить Рэмону, потому, что причин поступить иначе у меня не было.

Окончив, я прочел ему письмо вслух. Он слушал, куря и кивая головой, потом попросил прочесть еще раз и остался очень доволен. «Я чувствовал, что ты знаешь жизнь», сказал он. Сначала я и не заметил, что он перешел на ты. Поразило это меня только тогда, когда он сказал: «Теперь ты друг что надо!». Это он повторил дважды и я ответил: «Да». Мне было безразлично, быть его другом или нет, но ему этого явно хотелось. Он запечатал письмо и мы допили вино. Затем молча выкурили еще несколько папирос. На улице была тишина, проехала только одна машина. Я сказал: «Поздно». Рэмон с этим согласился и заметил, что время идет быстро. В известном смысле это было верно. Мне хотелось спать, но подняться было трудно. Рэмон сказал мне, что не следует распускаться. Сначала я не понял его. Он объяснил, что знает о смерти мамы, но что рано или поздно это должно было случиться. Таково же было и мое мнение.

Я встал. Рэмон крепко пожал мне руку и сказал, что мужчина мужчину поймет всегда. Я затворил за собой дверь и несколько секунд простоял на площадке в полной темноте. В доме все было тихо, снизу, из глубины лестницы, поднимался сырой, смутный запах. В ушах у меня билась кровь. Я стоял неподвижно. В комнате старика Саламано глухо проскулила собака.

IV

Всю эту неделю работы у меня было порядочно. Рэмон приходил сказать, что отправил письмо. Два

раза был я в кино с Эмманюэлем, который не всегда схватывает, что происходит на экране. Приходится ему объяснять. Вчера в субботу, как мы и условились, у меня была Мария. Она очень взволновала меня, так как была в красивом платье с красными и белыми полосами и в кожаных сандалиях. Обрисовывались тугие груди, да и загар очень шел к ней. На автобусе мы отправились за несколько километров от Алжира на пляж окруженный скалами, с тростниками на берегу. Послеполуденное солнце жгло не слишком сильно, но вода была теплой и на море тянулись низкие, ленивые волны. Мария научила меня игре, заключающейся в том, чтобы плывя набрать в рот с гребня волны как можно больше пены и затем, обернувшись на спину, выдохнуть ее высоко вверх. Получалось нечто вроде легкого, пенистого кружеза, которое рассеивалось в воздухе или теплым дождем падало на лицо. Однако, я вскоре почувствовал, что соль разъедает рот. Мария нагнала меня и в воде прижалась ко мне. Рот ее слился с моим. Ее язык освежал мне губы и несколько времени мы провозились в волнах.

Когда мы на пляже одевались, Мария пристально, блестящими глазами смотрела на меня. Я ее поцеловал. Начиная с этого момента мы молчали. Я прижал ее к себе и нам не терпелось дождаться автобуса, вернуться, подняться ко мне и броситься на постель. Окно я оставил открытым и приятно было ощущать на наших загорелых телах дыхание летней ночи.

Утром Мария осталась у меня и мы решили вместе позавтракать. Я спустился купить мяса. Поднимаясь, я услышал в комнате Рэмона женский голос. Немного

спустя старик Саламано принялся бранить свою собаку, на деревянной лестнице послышался стук подошв и скрип когтей, потом ворчание: «Дрянь, падаль!». Они вышли на улицу. Я рассказал Марии про старика, она смеялась. На ней была моя пижама с засученными рукавами. Смех ее опять возбудил меня. После она спросила, люблю ли я ее. Я ответил, что это ровно ничего не значит, но что уж если на то пошло, то скорее не люблю. У нее сделался грустный вид. Но готовя завтрак, она опять стала смеяться, не помню точно из-за чего, и я снова поцеловал ее. В это время в комнате Рэмона поднялся крик.

Сначала послышался пронзительный женский визг, а затем голос Рэмона, повторявшего: «Ты оскорбила меня, оскорбила. Я научу тебя, как меня оскорблять!». Затем какие-то глухие звуки и наконец женский вой, такой страшный, что площадка мгновенно наполнилась народом. Мы с Марией вышли тоже. Женщина продолжала кричать, а Рэмон бил ее. Мария сказала, что это ужасно, я ничего не ответил. Она попросила меня сходить за полицейским, но я сказал, что не люблю полиции. Однако, жилец со второго этажа, водопроводчик, полицейского привел. Тот постучал в дверь и настала тишина. Он постучал сильнее, послышался женский плач и Рэмон отворил дверь. В зубах у него была папироса, вид был самый добродушный. Женщина бросилась вперед и сказала полицейскому, что Рэмон избил ее. «Как фамилия?», спросил полицейский. Рэмон ответил. «Вынь изо рта папиросу, когда говоришь со мной», сказал полицейский. Рэмон, будто колеблясь, взглянул на меня и затянулся сильнее. Полицейский широко раз-

махнулся и дал ему затрещину. Папироса отлетела на несколько метров в сторону. Рэмон изменился в лице, но сначала не сказал ничего, а затем дрожащим голосом спросил, может ли он поднять окурок. Полицейский заявил, что может, и добавил: «В следующий раз будешь знать, с кем имеешь дело!». Женщина все плакала и повторяла: «Он исколотил меня. Это кот». «Скажите, господин полицейский, — спросил Рэмон, — разрешается ли законом называть мужчину котом?». Но полицейский велел ему «заткнуться». Рэмон обернулся к женщине и сказал: «Подожди, голубушка, это еще только начало». Но полицейский снова велел ему молчать и сказал, чтобы женщина уходила, а Рэмон оставался у себя в ожидании вызова в комиссариат. Затем добавил, что стыдно человеку напиваться до дрожи во всем теле. Рэмон возразил, что он вовсе не пьян. «Дрожу я, господин полицейский, потому, что стою перед вами. Как же иначе?». Дверь свою он притворил, и все разошлись. Вместе с Марией мы снова стали готовить завтрак. Но есть ей не хотелось и я один съел почти все. В час дня она ушла, а я прилег и задремал.

Часа в три раздался стук в дверь и вошел Рэмон. Я продолжал лежать. Он сел с краю кровати и молчал. Я спросил, как произошло дело. Он рассказал, что все было именно так, как он хотел, но что она дала ему пощечину и что тогда он ее избил. Остальное я видел сам. Я сказал, что по моему теперь она наказана и что он должен быть доволен. Таково же было и его мнение. Ей здорово попало, и как бы полицейский ни изворачивался, ничего изменить тут было нельзя. Он добавил, что не раз имел с полицейскими дело и знает, как с

ними обращаться. Его интересовало, ждал ли я, что он даст полицейскому сдачи. Я ответил, что не ждал ничего и что вообще не люблю полиции. Рэмону это по-видимому очень понравилось. Он спросил, не хочу ли я с ним пройтись. Я встал и начал приглаживать волосы. Он сказал, что я должен быть свидетелем по его делу. Мне это было безразлично, но я не знал, что именно должен я буду сказать. По словам Рэмона, достаточно будет подтвердить, что женщина его оскорбила. Я согласился быть свидетелем.

Мы вышли. Рэмон угостил меня рюмкой коньяку и предложил сыграть партию в бильярд. Выиграл он, но не без труда. Потом ему хотелось пойти в публичный дом, но я отказался, потому, что не люблю этого. Мы потихоньку вернулись к себе и он все говорил о том, как доволен, что ему удалось наказать любовницу. Со мной он был очень мил и на мой взгляд время мы провели приятно.

Издали я увидел старика Саламано, стоявшего на пороге и казавшегося чем-то взволнованным. Приблизившись, я заметил, что собаки с ним не было. Он глядел во все стороны, вертелся, всматривался во тьму за дверь, бормотал что-то бессвязное и снова принимался смотреть вдаль своими маленькими красными глазами. Рэмон спросил, что с ним, но он не ответил. Мне послышалось, что в волнении он шепчет: «Дрянь, падаль». Я спросил, где его собака. Он довольно резко ответил, что собака ушла. И вдруг заговорил, будто его прорвало: «Я пошел с ней, как обычно на Маневренное поле. Вокруг ларьков толпился народ. Я остановился

взглянуть на «Короля беглецов». А когда обернулся, ее не было. Правду сказать, я давно уже собирался купить ей ошейник потуже. Но кто бы мог предвидеть, что эта падаль удерет?».

Рэмон объяснил ему, что собака вероятно заблудилась и вернется. Он привел примеры того, как некоторые собаки за десятки километров возвращались к хозяину. Но старик волновался все сильнее. «Дело ведь в том, что они заберут ее. Хорошо, если бы ктонибудь ее приютил. Но ведь она вся в струпьях, кому такая нужна! Полиция заберет ее, будьте уверены». Я сказал, что ему следовало бы пойти справиться, и что если он заплатит штраф, собаку ему отдадут. Он спросил, велик ли штраф. Этого я не знал. Тут он пришел в ярость. «Этого еще не хватало, платить за такую падаль!». И он принялся ругать ее. Рэмон рассмеялся и стал подниматься. Я пошел за ним и на площадке нашего этажа мы расстались. Немного спустя слышались шаги старика и раздался стук в мою дверь. Я отворил. Он молча стоял на пороге, а потом сказал: «Извините, извините». Я пригласил его войти, но он не захотел. Опустив голову, он смотрел на носки своих башмаков и руки его, покрытые струпьями, дрожали. Не глядя мне в глаза, он спросил: «Скажите, господин Мерсо, они ведь не заберут ее? Они отдадут ее мне, да? А то что же я буду делать?». Я сказал, что собак держат в распоряжении хозяев три дня, а потом делают с ними, что хотят. Он молча посмотрел на меня и сказал: «Добрый вечер». Дверь свою он затворил, но мне слышно было, как он ходит взад и вперед. Скрипнула его кровать. По странному глухому хрипению, доносив-

шешуся из-за перегородки, я понял, что он плачет. Не знаю, отчего, я вспомнил о маме. Однако, завтра утром надо было рано вставать. Есть мне не хотелось, я лег спать, не обедая.

V

Рэмон телефонировал мне в контору. Сказал, что один из его друзей (которому он обо мне говорил) приглашает меня в воскресенье к себе на дачу, в окрестностях Алжира. Я ответил, что ничего не имел бы против, но что обещал провести воскресенье с приятельницей. Рэмон тотчас же сказал, что приглашает и ее тоже. Он уверен, что жена его друга будет чрезвычайно рада не быть совсем одной в компании мужчин.

Я хотел повесить трубку, зная, что хозяин не любит, когда нас вызывают из города. Но Рэмон попросил меня подождать и сказал, что приглашение мог бы передать и вечером, но что у него есть ко мне и другое дело. За ним целый день ходила по пятам кучка арабов, среди которых был и брат его любовницы. «Если вечером, возвращаясь, ты увидишь их у нашего дома, предупреди меня». Я обещал так и сделать.

Вскоре после нашего разговора хозяин вызвал меня к себе. Сначала я с досадой подумал, что он скажет мне поменьше телефонировать и побольше работать. Но дело было не в этом. Ему хотелось поговорить со мной об одном еще туманном своем проекте и узнать мое мнение о нем. У него возникла мысль об открытии

конторы в Париже, где можно было бы наладить коммерческие сношения непосредственно с крупными фирмами. Согласен ли я этим делом заняться? Жил бы я в Париже, а часть года проводил бы в разъездах. «Вы молоды, мне кажется, что такая деятельность должна быть вам по душе». Я ответил, что такая деятельность мне может быть и по душе, но что в сущности мне все равно. Он спросил, не привлекает ли меня изменение образа жизни. Я сказал, что жизнь всегда и везде одна и та же, что любой образ жизни, каков бы он ни был, не лучше и не хуже другого и что во всяком случае я своей жизнью доволен. Ему это не понравилось и он сказал, что я всегда отвечаю уклончиво, что у меня нет никакого честолюбия и что в делах это никуда не годится. Я ушел и стал работать. Противоречить ему мне было скорей неприятно, но изменять свою жизнь у меня оснований не было. Положа руку на сердце, несчастным счесть я себя не мог. В бытность студентом я часто мечтал о том, как бы выдвинуться. Но потом, когда принужден был бросить учение, быстро понял, что все это сущие пустяки.

Вечером за мной зашла Мария и спросила, хочу ли я на ней жениться. Я ответил, что мне это безразлично, но что если она хочет, то можно и жениться. Она спросила, люблю ли я ее. Как и в прошлый раз я ответил, что это бессмысленные слова, но что я ее не люблю, сомнений в этом нет. «Зачем же тогда ты на мне женишься?», сказала она. Я объяснил ей, что брак не имеет ни малейшего значения, но если таково ее желание, жениться мы могли бы. Да ведь и хочет этого она, а я ограничиваюсь тем, что не возражаю. Она заметила,

что брак вещь серьезная. Я ответил: «Нет». Она умолкла и взглянула на меня. Потом заговорила снова. Ей хотелось знать, принял ли бы я подобное предложение от другой женщины, с которой тоже был бы в связи. Я ответил: «Само собой». Она сказала, что не уверена в своей любви ко мне, а я-то насчет этого не знал, разумеется, ничего. После короткого молчания она прошептала, что человек я странный, что за это-то она меня и любит, но может быть когданибудь из-за этого я стану ей противен. Я молчал, так как к сказанному добавить мне было нечего, а она улыбаясь взяла меня за руку и сказала, что хочет выйти за меня замуж. Я ответил, что готов жениться когда угодно. Затем я рассказал ей о предложении хозяина. Мария призналась, что хотела бы побывать в Париже. Я сказал, что когда-то в Париже жил и она принялась спрашивать, какова там жизнь. Я сказал: «Много грязи. Голуби, темные дворы. Кожа у людей белая».

После мы бродили по городу и пересекли его по главным улицам. Было много красивых женщин и я спросил Марию, замечает ли она это. Она ответила утвердительно и сказала, что понимает меня. Некоторое время мы молчали. Мне хотелось, чтобы она осталась со мной, и я сказал, что мы могли бы вместе пообедать у Селеста. Ей тоже очень хотелось этого, но у нее были какие-то дела. Мы дошли до моего дома и я с ней простился. Она взглянула на меня: «Тебе не интересно знать, какие у меня дела?». Конечно, мне было интересно, но раньше я об этом не подумал и в этом-то она меня и упрекала. Вид у меня был вероятно смущенный, она рассмеялась и прильнула ко мне всем телом, протянув мне губы.

Обедал я у Селеста. Я уже начал есть, как вошла маленькая, странная женщина и спросила, может ли она сесть за мой стол. «Отчего же нет?», ответил я. У нее были резкие, отрывистые движения, лицо похожее на яблочко и блестящие глаза. Она сняла жакетку, села и бегло просмотрела меню. Затем позвала Селеста и сразу, уверенно и поспешно, заказала все блюда. В ожидании закусок, она открыла свою сумочку, вынула листок бумаги и карандаш, подвела счет, взяла из кошелька нужную сумму и добавив к ней чаевые, положила деньги перед собой. В этот момент ей подали закуски, которые она тут же и уничтожила. В ожидании следующего блюда она опять открыла сумочку, вынула синий карандаш и журнал с радио-программами текущей недели. С большой тщательностью она принялась отмечать одну за другой чуть ли не все передачи. В журнале было двенадцать страниц и занятие это растянулось на все время обеда. Я уже кончил есть, а она все так же старательно отмечала и подчеркивала. Потом встала, теми же точными, как у автомата, жестами надела жакетку и вышла. Делать мне было нечего, я вышел вслед за ней. Она шла по краю тротуара, двигаясь с невероятной быстротой и уверенностью, не сбиваясь в сторону и не оборачиваясь. В конце концов я потерял ее из виду и пошел обратно. Странная женщина, подумал я, но довольно скоро забыл о ней.

У моей двери стоял старик Саламано. Я попросил его войти и он сказал, что собака его очевидно пропала. Городские служащие, забирающие на улицах бездомных собак, высказали предположение, что ее раздавили. Он спросил их, нет ли возможности навести справки в ко-

миссариате, но ему ответили, что подобные происшествия случаются каждый день и никаких записей им не ведется. Я сказал старику, что он мог бы завести другую собаку, но он справедливо возразил, что привык к той.

Я пристроился на кровати, а Саламано сел на стул, против меня, перед столом, и держал руки на коленях. Старой своей фетровой шляпы он не снял и сквозь пожелтелые усы бормотал обрывки каких-то фраз. Было скучновато, но занят я не был и спать мне не хотелось. Поэтому я стал спрашивать его о собаке. Он сказал, что завел ее после смерти жены. Женился он довольно поздно. В молодости он мечтал о карьере актера: в полку ему давали роли в военных водевилях. Но вместо того он стал железнодорожником и не жалеет об этом, так как теперь получает маленькую пенсию. В браке счастлив он не был, но мало по малу обжился и привык к жене. После ее смерти его тяготило одиночество. Тогда-то он и попросил товарища по мастерской уступить ему собаку, и тот дал ему крохотного щенка. В начале приходилось кормить его соской. Но так как собачий век короче человеческого, то в конце концов состарились они вместе. «У нее был скверный характер, — сказал Саламано. — Время от времени у нас с ней бывали стычки. Но все-таки это была хорошая собака». Я сказал, что это была собака породистая и повидимому это доставило Саламано удовольствие. «А вы ведь не видели ее до болезни, — сказал он. — Особенно красива у нее была шерсть». Со времени болезни Саламано ежедневно, утром и вечером, натирал ее какой-то мазью. Но по его

мнению, больна она была старостью, а старость неизлечима.

Тут я зевнул и старик сказал, что сейчас уйдет. Я ответил, что он может посидеть у меня еще и что мне жаль его собаку: он меня поблагодарил, а потом заметил, что мама ее очень любила. Говоря о маме, он выразился «ваша бедная мать». По его предположению смерть ее должна была быть для меня тяжелым ударом. На это я ничего не ответил. Скороговоркой и со смущенным видом он добавил, что в околотке меня осуждали за то, что я поместил маму в убежище, но что он знает меня и уверен, что я очень любил маму. Почему-то я ответил, что впервые слышу о дурных отзывах обо мне, но что при недостатке средств и ухода за мамой, мне казалось естественным поместить ее в приют. «Да кроме того, — добавил я, — у меня она все больше молчала и в одиночестве ей было скучно». «Да, — сказал он, — в приюте по крайней мере легко составить себе круг друзей». После этого он встал. Ему хотелось спать. Жизнь его теперь изменилась и он еще не знал, как она сложится. Впервые за все время нашего знакомства он протянул мне руку и я почувствовал, что кожа на его ладони облуплена. Он слабо улыбнулся и уходя сказал: «Надеюсь, собаки ночью не примутся лаять. А то мне все кажется, что это моя».

VI

В воскресенье я проснулся с трудом и Марии пришлось звать и трясти меня. Мы не завтракали, так как решили пойти купаться пораньше. Я чувствовал себя каким-то опустошенным и у меня слегка болела голова. У папиросы был горький привкус. Мария подтрунивала надо мной и говорила, что у меня «погребальный вид». Она была в легком белом платье с распущенными волосами. Я сказал, что сегодня она особенно хороша, и она рассмеялась от удовольствия.

Выходя, мы постучали в дверь Рэмона. Он ответил, что сейчас спустится. Оттого ли, что я неважно себя чувствовал или оттого, что у себя мы оставались в полутьме, не отворяя ставень, солнечный свет на улице показался мне нестерпимо ярким. Мария прыгала от радости и все повторяла, что день выдался прекрасный. Мне стало как будто лучше, я был голоден и сказал об этом Марии. Но у нее в руках был только клеенчатый мешок с нашими купальными костюмами и полотенцем. Пришлось ждать. Наконец раздался стук двери и появился Рэмон. На нем были синие брюки, белая рубашка с короткими рукавами и соломенная шляпа, что рассмешило Марию. Белая кожа на открытых до локтя руках выделялась под черными волосами. Мне это показалось довольно противно. Спускаясь, он посвистывал и вид у него был чрезвычайно довольный. Мне он сказал: «Привет, дружище», а Марию назвал «Мадемуазель».

Накануне мы с ним ходили в комиссариат и я подтвердил, что женщина ему нагрубилa. Он отделался предупреждением. Мое показание проверено не было. Постояв и потолковав об этом, мы хотели пойти к автобусу. Пляж отстоит не очень далеко, но идти пешком было бы все-таки долго. Рэмон думал, что другу его будет приятно, если мы приедем пораньше. Внезапно он сделал мне знак: взгляни, мол, напротив. У табачной лавки стояла кучка арабов. Они смотрели на нас молча, с таким безразличием, будто пред ними были камни или засохшие деревья. Рэмон сказал мне, что второй слева — тот самый, о котором он мне рассказывал, и вид у него сделался озабоченный. Впрочем, добавил он, со всем этим покончено. Мария с недоумением спросила, в чем дело. Я объяснил ей, что это арабы, у которых с Рэмоном какие-то счеты. Она сказала, что в таком случае лучше немедленно уйти. Рэмон выпрямился, рассмеялся и сказал, что в самом деле надо торопиться.

Мы направились к той остановке автобуса, которая отстоит немного дальше, и Рэмон сказал мне, что арабы остались на месте. Я обернулся. Они стояли у той же лавки и с тем же безразличием смотрели перед собой. Подошел автобус. Рэмон, казалось, совсем ободрился и без умолку отпускал шутки по адресу Марии. Я понял, что она ему нравится. Но на заигрывания его она не отвечала. Изредка только смотрела на него и смеялась.

Сошли мы с автобуса за чертой города. Пляж был в двух шагах от остановки. Надо было, однако, пересечь маленькую площадку, возвышающуюся над морем, и затем ведущую к берегу. Она вся была покрыта желто-

ватыми камнями и асфоделями, казавшимися еще более под знойной синевой неба. Размахивая своим клеенчатым мешком, Мария со смехом сбивала их лепестки. Мы шли между двумя рядами маленьких вилл, огороженных зелеными или белыми палисадниками. Одни вместе с верандами утопали в цветах, другие, наоборот, казались нагими посреди камней. С площадки виднелось неподвижное море и вдалеке сонный, тяжелый мыс, врезавшийся в прозрачную воду. В тишине послышался легкий звук мотора. В сияющей морской дали почти незаметно двигалось маленькое рыбацье судно. Спускаясь к берегу, мы увидели, что уже было несколько купальщиков.

Приятель Рэмона жил в деревянном шалаше на самом краю пляжа. Дом был прислонен к скалам, море омывало поддерживавшие его сваи. Рэмон нас представил. Фамилия его приятеля была Массон. Это был высокий, крупный, плечистый парень. Его миловидная, кругленькая жена говорила с парижским акцентом. Он сразу же пригласил нас быть как дома и сказал, что к завтраку будет мелкая жареная рыба, которую он только сегодня утром наловил. Я сказал ему, что дом его мне очень нравится. Он ответил, что проводит здесь субботы, воскресенья и все отпускные дни. «С женой мы живем дружно», добавил он. Жена его смеялась, о чем-то болтая с Марией. Пожалуй в первый раз в жизни подумал, что действительно хорошо было бы жениться.

Массон хотел пойти купаться, но его жена и Рэмон были против этого. Мы спустились втроем и Мария сразу же бросилась в воду. Я с Массоном посидели на

берегу. Говорил он медленно, и я обратил внимание, что у него была привычка каждую свою фразу дополнять словами «скажу больше», — даже в тех случаях, когда добавить ему было решительно нечего. Говоря о Марии, он сказал мне: «Восхитительная женщина, скажу даже больше — очаровательная». Потом я уже перестал обращать внимание на эту его манеру и занят был только мыслями о том, как благотворно действует на меня солнце. Песок под ногами становился все горячее. Подождав немного и борясь с желанием освежиться, я все же в конце концов сказал Массону: «Идем, да?» и нырнул. Он тоже вошел в воду, но медленно, и поплыл только тогда, когда не мог уже достать дна ногами. Плыл он довольно неумело, взмахивая руками, так, что я оставил его и нагнал Марию. Вода была холодная и плыть мне было приятно. С Марией мы заплыли далеко, испытывая удовлетворение согласованностью наших движений. Затем мы легли на спину и солнце быстро согнало с обращенного к небу лица моего последние брызги, стекавшие мне в рот.

Массон вышел на берег и растянулся на песке. Издали он казался огромным. Марии захотелось поплавать со мной вместе. Я взял ее за талию и она поплыла впереди, работая руками, в то время, как я помогал ногами. В утренней тишине слышался легкий плеск воды и длилось это пока я не почувствовал, что устал. Тогда я оставил Марию и вернулся на берег, плывя и дыша без усилия. На пляже я лег на живот рядом с Массоном и уткнулся лицом в песок. «Славно здесь, правда?», сказал я ему. Он был такого же мнения. Вскоре после того вернулась Мария. Я поднял голову,

чтобы взглянуть на нее. С нее струилась соленая вода и в руке она держала откиннутые за спину волосы. Легла она бок о бок со мной, и чувствуя жар ее тела заодно с жаром солнца, я слегка задремал.

Мария меня растолкала и сказала, что Массон ушел и что пора завтракать. Я быстро встал потому, что был голоден, но Мария сказала, что с самого утра я еще ни разу не поцеловал ее. Это было верно и поцеловать ее мне хотелось. «Идем в воду», сказала она. Мы побежали, распластались на прибрежных волнах и сделали руками несколько взмахов. Она прильнула ко мне. Ее ноги обвили мои и я почувствовал возбуждение.

В доме Массон уже поджидал нас. Я сказал, что очень голоден и он в ответ объявил жене, что я ему нравлюсь. Хлеб был свежий, свою порцию рыбы я съел с жадностью. Затем было мясо с жареным картофелем. Мы ели молча. Массон и сам много пил, и мне подливал без остановки. К концу обеда у меня отяжелела голова и я курил папиросу за папиросой. Вместе с Массоном и Рэмоном мы решили провести на пляже весь август, деля расходы поровну. Вдруг Мария сказала: «А знаете который час? Половина двенадцатого!». Все мы были удивлены, но Массон заметил, что позавтракали мы рано и что это естественно, так как есть надо тогда, когда ты голоден. Мария рассмеялась, не знаю, собственно говоря, почему. Вероятно она слегка подвыпила. Массон спросил меня, не хочу ли я пойти с ним прогуляться. «Моя жена привыкла отдыхать после завтрака, но я этого не люблю. Мне необходимо движение. Я постоянно ей говорю, что это нужно и для здоровья. Но в конце концов пусть делает, как хочет». Мария

сказала, что останется и поможет госпоже Массон вымыть посуду. Парижаночка заметила, что в таком случае женщинам лучше быть одним: пусть мужчины уходят. Мы трое спустились на берег.

Лучи солнца падали на песок почти отвесно и блеск моря был невыносим. На пляже не было больше никого. Из прибрежных домиков, возвышавшихся над морем, доносился стук посуды, звон ножей и вилок. От зноя, поднимавшегося от земли, спирало дыхание. Сначала Рэмон с Массоном говорили о вещах и людях, мне неизвестных. Повидимому знакомы они были давно и даже одно время вместе жили. Мы направились к морю и пошли вдоль самого берега. Порой легкая, разбежавшаяся волна орошала наши полотняные башмаки. Солнце било мне в обнаженную голову и находился я в полузабытьи.

Вдруг Рэмон что-то сказал Массону, однако я не расслышал, что именно. В ту же минуту я увидел вдалеке, в самом конце пляжа, двух арабов в синей рабочей одежде, шедших нам навстречу. Я взглянул на Рэмона. Он сказал мне: «Это тот самый». Мы продолжали идти. Массон спросил, как могли они проследить нас. Я ничего не ответил, но подумал, что вероятно они видели, как мы с купальным мешком в руках сели в автобус.

Арабы двигались медленно и были уже гораздо ближе. С виду мы оставались так же спокойны, но Рэмон сказал: «Если дело дойдет до драки, ты, Массон, займись вторым. Своего я беру на себя. В случае, если появится третий, я, Мерсо, рассчитываю на тебя». Я сказал: «Да», а Массон спрятал руки в карманы. Рас-

каленный песок казался мне теперь совсем красным. Ровным шагом мы шли навстречу арабам. Расстояние между нами сокращалось. Когда мы оказались от них в нескольких шагах, арабы остановились. Массон и я замедлили шаг, а Рэмон направился прямо к своему парню. Я не совсем расслышал, что он ему сказал, но тот склонил голову, будто хотел сбить Рэмона с ног. Рэмон ударил его и сейчас же позвал Массона. Массон подошел к тому арабу, который был ему указан, и дважды ударил его, навалиясь всей своей тяжестью. Араб упал лицом в воду и несколько секунд был неподвижен. Пузыри поднимались и лопались вокруг его головы. Рэмон продолжал бить своего араба и лицо того было все в крови. Он обернулся и сказал мне: «Увидишь, места живого не оставлю!». Я крикнул: «Осторожно, у него нож!». Но было поздно: у Рэмона на руке уже зияла открытая рана и был изрезан рот.

Массон рванулся вперед. Второй араб поднялся и стал за спину того, который был вооружен. Двинуться мы не смели. Они медленно отступили, глядя на нас в упор и угрожая ножом. Потом, отойдя на некоторое расстояние, бросились бежать. Мы стояли, как вкопанные. Рэмон прижимал к себе руку, из которой сочилась кровь.

Спohватившись, Массон сказал, что знает врача, который бывает здесь по воскресеньям. Рэмон хотел пойти к нему немедленно. Но едва открывал он рот, кровь, пузырясь, мешала ему говорить. Поддерживая его, мы поспешно вернулись домой. Тут Рэмон сказал, что ранения его пустяшные и что к врачу он пойти может. Массон увел его, а я остался, чтобы объяснить

женщинам, что произошло. Госпожа Массон плакала, а Мария была очень бледна. Все это мне наскучило. Я умолк и стал курить глядя на море.

Около половины второго Рэмон с Массоном вернулся. У него была перевязана рука и угол рта был залеплен пластырем. Врач не нашел ничего серьезного, но вид у Рэмона был очень мрачный. Массон пытался его рассмешить. Но тот молчал. Наконец, он сказал, что спустится на пляж и я спросил его, зачем. Он ответил, что ему хочется пройтись. Мы с Массоном заявили, что пойдем вместе с ним. Он рассердился и выругал нас. Массон сказал, что не надо его раздражать. Однако я все-таки вышел вслед за ним.

Шли мы по пляжу долго. Солнце жгло нестерпимо. Казалось, лучи его разбиваются на куски о песок и море. У меня возникло впечатление, что Рэмон знает, куда идет, но едва ли это было верно. Мы дошли до самого края пляжа, где в песке за утесом журчал ручеек. Там мы увидели наших двух арабов. Они лежали в своих синих просаленных куртках. Вид у них был невозмутимый и почти довольный. Наше появление их ничуть не встревожило. Тот, который ударил Рэмона, молча смотрел на него. Другой дул в обрезок тростника и искоса поглядывая на нас, безостановочно повторял три ноты, которые удалось ему извлечь из своей дудочки.

Солнце, тишина, журчание ручья, три ноты: больше не было ничего. Рэмон взялся рукой за задний карман, но араб не шевельнулся и попрежнему они пристально смотрели один на другого. Я заметил, что у того, который играл на дудочке, пальцы на ногах очень

широко расставлены. Не отводя глаз от своего врага, Рэмон спросил меня: «Пристрелить его?». Я подумал, что если ответить отрицательно, он вспыхнет и выстрелит наверно. Поэтому я сказал: «Он ведь молчит. Стрелять без повода не годится». Снова тишина, жара, плеск воды, звук дудочки. Рэмон сказал: «Если так, то я примусь ругать и оскорблять его, а когда он ответит, пристрелю». Я сказал: «Пожалуй. Но пока он не выхватит ножа, стрелять нельзя». Рэмон начинал горячиться. Второй араб по-прежнему играл на дудочке и оба следили за каждым движением Рэмона. «Нет, сказал я. Возьми его в рукопашную, а револьвер дай мне. Если он выхватит нож или если вмешается другой, я его прикончу».

На револьвере, который передал мне Рэмон, блеснул солнечный луч. Однако, мы не двигались с места, будто все вокруг нас было заколдовано. Не опуская глаз мы смотрели на них, они смотрели на нас, и не было вокруг ничего, кроме моря, песка и солнца. В эту минуту я подумал, что можно и выстрелить, можно и не стрелять. Внезапно арабы, пятясь, спрятались за утесом. Тогда и мы с Рэмоном пошли назад. Он казался спокойнее и заговорил о возвращении и об автобусе.

Я довел его до шалаша и задержался у первой ступеньки, пока он поднимался по деревянной лестнице. Голова моя горела, мне было не под силу подняться и снова начать что-то растолковывать женщинам. Но зной был таков, что тяжело было и стоять без движения под падавшим с неба световым ливнем. Подождав немного, я вернулся на пляж и стал ходить.

Вокруг меня все было раскалено до красна. Легкие волны разбивались на песке с глухим плеском и, казалось, это прерывисто вздыхает море. Я медленно шел по направлению к скалам и чувствовал, что лоб мой набухает под солнцем. Жар давил меня и мешал двигаться. Но всякий раз, как зной с новой силой обдавал мне лицо, я стискивал зубы, сжимал в карманах брюк кулаки и весь напрягался, чтобы оказаться сильнее солнца и того забвения, которым оно мутило мой мозг. При всякой насквозь пронзавшей меня искре, с песками, с побелевшей ли ракушки или с осколка стекла, челюсти мои судорожно сжимались. Ходил я долго.

Издали виднелись очертания маленького темного утеса, тонувшего в ослепительном свете и в морском тумане. Я подумал о ручейке, текшем за ним. Мне хотелось снова услышать его журчание, убежать от солнца, от всего, что требует усилия, от женских слез, хотелось побыть в тени и отдохнуть. Но приблизившись, я увидел, что араб, враг Рэмона, вернулся.

Он был один. Лежал он на спине, заложив руки за голову. Лоб его был в тени, падавшей от скалы, тело на солнце. От зноя одежда его дымилась. Я был слегка удивлен. Мне представлялось, что со всем этим покончено и пришел я сюда без всякой цели.

Увидев меня, он чуть-чуть приподнялся и сунул руку в карман. Само собой я сжал в руке револьвер находившийся в моем пиджаке. Однако, он снова откинулся на спину, хотя и не вынимая руки из кармана. Я был от него довольно далеко, метрах в десяти. Из под его полуспушенных век я угадывал на себе его взгляд. Но облик его чаще расплывался передо мной в раска-

ленном воздухе. Плеск волн был еще ленивее, еще глуше, чем в полдень. Было то же солнце, тот же свет на том же тянувшемся досюда песке. Прошло уже два часа, как день не двигался, два часа, в течение которых день стоял на якоре в океане расплавленного металла. На горизонте прошел маленький пароход. Видел я его только краем глаза, так как не отрываясь смотрел на араба.

Достаточно сделать шага два назад, подумал я, и дело с концом. Но залитый солнцем пляж как будто оттеснял меня. Я направился к ручью. Араб не двинулся. Был он еще довольно далеко. Вероятно из-за игры теней на его лице казалось, что он улыбается. Я подождал. Солнце жгло мне щеки и в бровях дрожали капли пота. Это было то же самое солнце, что и в день маминых похорон, и так же, как и тогда, у меня особенно болел лоб и под кожей, во всех моих венах билась кровь. Из-за этой невыносимой боли я сделал шаг вперед. Это было глупо, я знал, что не избавлюсь от солнца, подвинувшись на каких-нибудь полметра. Однако, я шаг сделал, единственный шаг. Не приподнимаясь, араб вытащил из кармана нож и показал его мне. На стали сверкнул отблеск солнца и мне почудилось, что длинное, искрящееся лезвие ударило меня в лоб. В то же мгновение, накопившийся в бровях пот ручьями потек мне на веки и застлал их теплым, плотным покровом. Слезы и соль ослепили меня. Я ничего не чувствовал, кроме звона и треска солнца о мой лоб и мне казалось, что нож передо мной превратился в сверкающий меч. Он срезывал мне ресницы, проникал в наболевшие глаза. Тогда-то все и

смешалось .Море дохнуло чем-то жгучим и тяжелым. Мне показалось, что небо разверзлось и что оттуда льется огонь. В крайнем напряжении я сжал в руке револьвер. Нащупав курок, я взялся за гладкую рукоятку, и так, в сухом и оглушительном грохоте, все и началось. Я стряхнул с себя и пот, и солнце. Я понял, что нарушил стройное течение дня, исключительную тишину пляжа, где был счастлив. Тогда я выстрелил еще четыре раза подряд в неподвижное тело, куда пули входили незаметно.

И было это будто четыре коротких моих удара в дверь несчастья.

Часть вторая

I

ТОТЧАС же после моего ареста меня несколько раз допрашивали. Но речь шла об удостоверении личности и допросы были короткие. В первый раз это было в комиссариате, где к моему делу никто интереса не проявил. Неделью спустя судебный следователь, наоборот, присматривался ко мне с любопытством. Но сначала он спросил только мою фамилию, адрес, род занятий, время и место рождения. Затем пожелал узнать, выбрал ли я адвоката. Я ответил отрицательно и спросил, действительно ли это необходимо. «В каком смысле?», удивился он. Я ответил, что на мой взгляд дело мое совсем просто. Он улыбнулся: «У всякого свое мнение. Но закон есть закон. Если вы сами не выберете себе защитника, мы дадим вам его по назначению». Я нашел очень удобным, что правосудие берет подобные мелочи на себя. Это я ему и сказал. Он согласился и заметил, что закон предвидит все.

В начале я не обращал на него большого внимания.

Он принял меня в комнате завешанной портьерами, на его столе стояла одна, единственная лампа, освещавшая кресло, куда он меня и усадил, сам оставшись в тени. Все это было мне знакомо по некоторым прочитанным книгам и показалось скорее игрой. По окончании беседы я однако пригляделся к нему и увидел, что это был человек высокого роста, с тонкими чертами лица, синими, глубоко запавшими глазами, длинными седыми усами и копной почти совсем белых волос. Он показался мне весьма рассудительным и в сущности симпатичным, несмотря на нервное подергивание губ. Уходя, я едва не протянул ему руку, но во время спохватился, вспомнив, что убил человека.

На следующий день ко мне в тюрьму явился адвокат, маленький, толстенький, довольно молодой, с тщательно приглаженными волосами. Несмотря на жару (я был без пиджака) на нем был темный костюм, крахмальный воротничек с отогнутыми углами и какой-то странный галстук в широкую, черную с белым, полосу. Он положил свой портфель на мою кровать, представился и сказал, что ознакомился с моим делом. Положение мое было будто бы нелегкое, но он не сомневался в успехе, при условии, что я буду с ним откровенен. Я его поблагодарил и он сказал: «Давайте разберемся в самой сути этой истории».

Он сел на кровать и объяснил мне, что были наведены справки о моей частной жизни. Стало известно, что мать моя недавно скончалась в приюте. Следствие перенесено было в Маренго. Выяснилось, что в день маминых похорон я «проявил бесчувственность». «Понимаете, — сказал адвокат, — меня немножко стесняет

задавать вам такого рода вопросы. Но это очень важно. Если мне нечего будет возразить обвинению, у него в руках будут все козыри». Он хотел, чтобы я ему помог, и спросил, был ли я огорчен в день похорон. Вопрос этот сильно удивил меня. Мне показалось, что я постеснялся бы задать его кому-либо. Все же я ответил, что отвык от самонаблюдения и что мне трудно сказать ему что-нибудь об этом. Конечно, я любил маму, но что это значит, «любить»? Все нравственно здоровые люди в большей или меньшей степени желали смерти тех, кого они любили. Тут адвокат в большом возбуждении прервал меня и взял с меня слово, что я не скажу этого ни на процессе, ни у судебного следователя. Я принужден был объяснить ему, что физические потребности по самой натуре моей отражаются на моих чувствах. В день маминых похорон я был утомлен и хотел спать. Вследствие этого я не отдавал себе отчета в происшедшем. Разумеется, я предпочел бы, чтобы мама не умирала, в этом сомнения нет. Но у адвоката вид был недовольный. Он сказал: «Этого не достаточно».

Подумав, он спросил, может ли он сказать, что в этот день я скрывал свои чувства. Я ответил: «Нет, потому, что это неправда». Он как-то странно взглянул на меня, будто почувствовав ко мне отвращение. Чуть ли не со злобой в голосе он сказал, что во всяком случае директор и служащие приюта будут вызваны в качестве свидетелей и что «обернуться это может плохо». Я обратил его внимание на то, что все это не имеет отношения к моему процессу, но он коротко ответил, что по-видимому, я никогда не имел дела с судами.

Ушел он рассерженный. Мне хотелось бы удержать его, объяснить, что я рад был бы вызвать к себе его расположение, и вовсе не для того, чтобы он лучше защищал меня, а так, просто. В особенности неприятно мне было то, что по-видимому я как-то коробил его. Он меня не понимал и вымещал на мне это. Я хотел бы объяснить ему, что я такой же человек, как все другие, совершенно такой же. Но в сущности, все это было бы ни к чему, и лень заставила меня от мысли моей отказаться.

Вскоре после того меня опять вызвали к судебному следователю. Было два часа пополудни и на этот раз кабинет его, сквозь легкие кисейные занавески на окнах, был залит светом. Было очень жарко. Он пригласил меня сесть и очень вежливо сказал, что «по непредвиденным обстоятельствам» адвокат мой придти не может. Однако за мной остается право и не отвечать на вопросы и подождать присутствия адвоката. Я сказал, что готов отвечать на вопросы и без адвоката. Он нажал на столе кнопку. Явился молодой секретарь и сел почти вплотную за мной.

Оба мы расположились в своих креслах. Начался допрос. Прежде всего он сказал, что мне приписывают угрюмый, скрытный характер, и пожелал узнать, что я об этом думаю. Я ответил: «Дело в том, что говорить мне не о чем. Оттого я и молчу». Он улыбнулся как в первый раз и признав, что довод мой лучший из всех возможных, добавил: «Впрочем, это не имеет никакого значения». Помолчав, он взглянул на меня и неожиданно выпрямившись, скороговоркой сказал: «В этом деле интересуете меня вы». Я не совсем уловил

смысл его слов и не ответил ничего. «Мне не все понятно в вашем поступке, — сказал он. — Я уверен, что вы поможете мне в нем разобраться». Я сказал, что все было совсем просто. Он потребовал, чтобы я по порядку перечел ему все, что в тот день произошло. Я перечел то, о чем уже ему говорил: Рэмон, пляж, купание, драка, снова пляж, ручеек, солнце и пять револьверных выстрелов. Он приговаривал: «Так, так». Когда я дошел до неподвижно лежавшего тела, он кивнул головой и сказал: «Отлично». Мне скучно было повторять все то же самое и, казалось, никогда еще я не был так болтлив.

Помолчав опять, он встал и сказал, что хочет мне помочь, что я его интересую и что с Божьей помощью он облегчит мою участь. Но сначала он хотел задать мне еще несколько вопросов. Без обиняков он спросил, любил ли я маму. Я сказал: «Да, как всякий другой человек». Секретарь, который до этого невозмутимо стучал на своей машинке, вероятно запутался в клавишах, так как остановился и лишь после этого застучал снова. Без всякой видимой связи следователь спросил, выстрелил ли я все пять раз подряд. Подумав, я ответил, что сначала выстрелил раз, а потом еще четыре раза. «Отчего же вы сделали перерыв между первым и вторым выстрелом?», спросил он. Опять привиделся мне красный пляж и на лбу я ощутил ожог солнца. Но не ответил я ничего. У следвателя стал возбужденный вид. Он сел, взъерошил волосы, положил локти на стол и со странным выражением лица наклонился ко мне: «Зачем, зачем стреляли вы в распростертое тело?». Я опять не нашелся, что ответить. Следователь провел рукой

по лбу и глуховатым голосом повторил вопрос: «Зачем? Ответьте, мне надо это знать. Зачем?». Я молчал.

Внезапно он встал, поспешно направился в другой конец кабинета и открыл один из ящиков в стойке для бумаг. Оттуда он вынул серебряное распятие и издала показал мне его. Изменившимся, почти дрожащим голосом он вскрикнул: «Его-то вы знаете?». Я сказал: «Да, конечно». В ответ он быстро и страстно сказал, что верит в Бога, что по его убеждению нет такого преступника, которого Бог не простил бы, но что для этого надо уподобиться ребенку с душой чистой и ко всему открытой. Он всем телом наклонился над столом. Распятием он потрясал чуть ли не над самой моей головой. Правду сказать, я с трудом следил за ходом его мыслей, отчасти потому, что мне было жарко и что в его кабинете кружились большие мухи, то и дело садившиеся мне на лицо, а еще потому, что производил он на меня впечатление жуткое. Вместе с тем я сознавал, что было это нелепо, ибо преступником-то в конце концов был я. Но он продолжал говорить. Смутно я понял, что по его мнению в моем показании был только один неясный пункт, а именно тот, что я не сразу сделал второй выстрел. Остальное было ему вполне понятно, а это — нет.

Я собирался сказать ему, что настаивает он напрасно: пункт этот не имеет, мол, большого значения. Но он прервал меня и, вытянувшись во весь рост, принялся в последний раз увещевать меня и спросил, верю ли я в Бога. Я ответил, что не верю. В негодовании он сел и сказал, что это невозможно, что верят в Бога все люди, даже те, кто отворачиваются от лица Его. Таково

было его убеждение и если бы он в этом усомнился, жизнь утратила бы для него смысл. «Что же, вы значит хотите, чтобы жизнь моя потеряла смысл?». По моему, это меня не касалось, и так я ему и сказал. Но весь наклонившись над столом, с Христом в руке перед самыми моими глазами, не владея собой, он кричал: «Я христианин. Я у Него прошу прощения за твои грехи. Как можешь ты не верить, что Он пострадал за тебя?». Я, конечно, заметил, что он перешел на «ты», но все это мне надоело. В комнате становилось все жарче. Как обычно, когда мне хочется избавиться от того, кого я едва слушаю, я притворился, что согласен с ним. К моему удивлению он принял вид торжествующий: «Видишь, видишь, — твердил он. — Ты веришь, правда, и ты откроешь Ему свое сердце?». Разумеется, я еще раз сказал: «Нет». Он снова упал в кресло.

По-видимому он сильно устал. Пишущая машинка, стучавшая во все время нашего разговора, еще заносила последние фразы, а он молчал. Затем он внимательно, с легкой грустью взглянул на меня и прошептал: «Никогда еще не видел я души столь ожесточенной, как ваша. Все бывавшие у меня преступники плакали перед этим олицетворением скорби». Мне хотелось ответить, что плакали они именно потому, что были преступниками. Но потом я подумал, что между ними и мной разницы не было. Свыкнуться с этой мыслью мне было трудно. Следовательно встал, будто давая мне понять, что допрос окончен. Тем же усталым голосом он только спросил меня, жалею ли я о том, что сделал? Поразмыслив, я ответил, что жалеть не жалею, но что

все случившееся мне досадно. Однако, понять меня он очевидно был не в силах. В тот день дело этим и ограничилось.

Впоследствии я много раз бывал у следователя, однако, всегда в сопровождении адвоката. Речь шла только об уточнении некоторых пунктов в моих предшествовавших показаниях. Случалось, следователь рассуждал с адвокатом о статьях закона, по которым я могу быть обвинен. Но правду сказать, лично мной они в эти минуты заняты не были. Допросы мало по малу приняли иной характер. Очевидно, следователь перестал мною интересоваться и к делу стал относиться формально. О Боге он больше со мной не говорил и ни разу я не видел его в том же возбуждении, что прежде. В результате, наши отношения сделались дружественнее. Несколько вопросов, два-три слова с адвокатом, на этом все и кончалось. По выражению следователя, дело мое шло своим порядком. Иногда беседа затрагивала предметы общие и я принимал в ней участие. Дышалось мне тогда легче. Никакой злобы вокруг себя я в это время не чувствовал. Все шло как по маслу, все было так естественно и так хорошо разыграно, что у меня возникало нелепое впечатление, будто я нахожусь в кругу семьи. И к моему удивлению, в течение всего следствия, длившегося одиннадцать месяцев, самыми приятными, хотя и редкими минутами были те, когда следователь, провожая меня до дверей кабинета, хлопал меня по плечу и с дружеским видом говорил: «На сегодня достаточно, господин Антихрист». После этого я снова оказывался под стражей.

II

Есть вещи, о которых я никогда не любил говорить. Попав в тюрьму, я по прошествии нескольких дней понял, что говорить об этом периоде моей жизни мне всегда будет неприятно.

Позднее все это стало мне безразлично. Да в сущности и в тюрьме-то я в первые дни не был: безотчетно я ждал, что должно произойти что-то непредвиденное. Все началось лишь после того, как в первый и единственный раз навестила меня Мария. Когда я получил от нее письмо (она писала, что посещения ей запрещены на том основании, что она мне не жена), тогда-то я и почувствовал, что камера это мой дом и что жизнь моя остановилась. После моего ареста, меня сначала заперли в помещении, где было несколько заключенных, в большинстве арабов. Увидев меня, они расхохотались, а затем спросили, что я сделал. Я сказал, что убил араба и тогда они умолкли. Вскоре стемнело. Они объяснили мне, как расположить циновку на ночь. Надо было скрутить один ее конец в виде валика под голову. Всю ночь, по моему лицу ползали клопы. Через несколько дней меня изолировали в отдельной камере, где я спал на деревянных нарах. В моем распоряжении была параша и железный таз. Тюрьма стояла на холме, на окраине города, и в маленькое окно видно было море. Однажды, когда, уцепившись за прутья решетки, я смотрел в светящуюся даль, явился сторож и

сказал, что ко мне кто-то пришел. Я подумал, что это Мария. В самом деле это была она.

Надо было пройти длинный корридор, затем лестницу и, наконец, снова корридор. Я вошел в огромный зал с окнами во всю ширь стены. Двумя решетками зал был разделен в длину на три части. Между решетками было расстояние в восемь или десять метров, отделявшее посетителей от арестантов. Я увидел Марию, загоревшую, в платье с полосками. С моей стороны было человек десять заключенных, большей частью арабов. Мария была окружена мавританками и по бокам ее стояли две посетительницы: старушка, вся в черном, с плотно сжатыми губами, и крупная, простоволосая женщина, говорившая очень громко и размахивавшая руками. Из-за расстояния между решетками посетители и арестанты принуждены были кричать. В первый момент у меня слегка закружилась голова от шума голосов, эхом гудевших посреди высоких голых стен, и от яркого света заливавшего сквозь стекла весь зал. В моей камере было тише и темнее. Прошло несколько секунд, пока я освоился и все лица обрисовались отчетливо. Сторож сидел в конце прохода между решетками. Большинство арабов и их родственники сидели на корточках. Кричать им было незачем. Несмотря на шум, они отлично слышали друг друга, даже говоря совсем тихо. Их глухой шепот, проносясь вниз, был как бы подпоркой для голосов, скрещивавшихся над их головами. Все это я заметил почти сразу, направляясь в сторону Марии. Прильнув к решетке, она широко улыбалась мне. Я нашел ее очень красивой, но сказать ей это мне не удалось.

«Ну, что, как?», во весь голос спросила она. — «Ничего, так». — «Ты здоров, у тебя есть все, что нужно?». — «Да, все».

Мы умолкли. Мария улыбалась. Толстая женщина кричала что-то моему соседу, высокому белокурому парню с открытым лицом. Разговор их очевидно начался еще до моего прихода.

«Жанна не захотела взять его», орала она. «Да, да», отвечал он. «Я ей говорила, что когда ты выйдешь, то возьмешь его. Но она отказывается».

Мария крикнула, что Рэмон мне кланяется. Я сказал: «Спасибо». Однако голос мой был заглушен соседом, который справлялся, «здоров ли он». Жена его рассмеялась и сказала, что «здоровее, чем когда бы то ни было». Сосед мой слева, молодой человек небольшого роста с худыми руками, молчал. Я заметил, что против него стояла маленькая старушка и что оба они напряженно смотрели друг на друга. Но внимание мое было отвлечено Марией, крикнувшей, что надо надеяться. Я сказал: «Да». Взглянув на нее, я почувствовал желание взять ее за плечи. Мне нравилась легкая ткань ее платья, а на что надо было надеяться, я в сущности не знал. Но очевидно, это было что-то хорошее, потому, что улыбка с лица Марии не сходила. Я ничего не видел, кроме блеска ее зубов и легких морщинок у глаз. Она снова крикнула: «Ты выйдешь и мы женимся». Я ответил: «Ты думаешь?», но только так, чтобы сказать что-нибудь. Поспешно и все так же громко она ответила, что, конечно, я буду оправдан и что море, купание и все прочее будет попрежнему. Но женщина, стоявшая рядом, кричала тоже, повторяя, что оставила

в конторе плетенку и перечисляя все, что в ней находится. «Проверь, когда получишь, вещи это дорогие». Другой мой сосед и его мать попрежнему не отрываясь, смотрели друг на друга. Снизу несся все тот же шепот арабов. Свет за окнами казался еще ярче.

Чувствовал я себя довольно плохо и мне хотелось уйти. Шум раздражал меня. Однако присутствие Марии было мне приятно. Не знаю, сколько прошло времени. Не переставая улыбаться, Мария заговорила о своей работе. Шепот, крики, разговоры, все это перемешалось. Единственный оазис молчания находился около меня: молодой человек и старушка, глядевшие друг на друга. Мало по малу арабов начали уводить. Едва ушел первый, как почти все другие смолкли. Старушка приблизилась к решетке и в тот же момент сторож сделал знак ее сыну. Он сказал: «До свидания, мама», а она просунула руку между прутьями и долго, медленно махала ему ею.

Место ее занял какой-то вновь пришедший человек со шляпой в руке. Ввели заключенного и они принялись разговаривать оживленно, однако, вполголоса, так как вокруг была тишина. Пришли и за моим соседом справа и жена его сказала так же громко, будто не замечая, что в этом уже не было надобности: «Смотри за собой и будь осторожен». Потом настала моя очередь. Мария послала мне воздушный поцелуй. Выходя, я обернулся. Она стояла не двигаясь, вся прижавшись к решетке, с той же мучительной и застывшей улыбкой на лице.

Написала она мне вскоре после этого. Тогда-то и началось то, о чем я не люблю говорить. Впрочем,

не надо преувеличивать: другим бывало и тяжелее, чем мне. В первые дни моего заключения хуже всего было то, что мысли мои оставались такими же, как у свободного человека. Мне, например, вдруг хотелось пойти на пляж, спуститься к морю. Представляя себе плеск волн под ступнями ног, погружение тела в воду, счастливую беззаботность, охватывавшую меня при этом, я еще острее чувствовал, как тесна моя камера. Продолжалось это несколько месяцев. Потом я свыкся с мыслью, что нахожусь в тюрьме. Каждый день я ждал прогулки по двору или прихода моего адвоката. Да и в остальное время я не скучал. Часто мне приходило в голову, что если бы меня заставили жить в дупле сухого дерева и если бы делать мне было решительно нечего, кроме как смотреть на лоскуток неба вверху, я привык бы и к этому. Я ждал бы, чтобы пролетела птица или проплыли облака, так же как теперь жду адвоката с его смешным галстуком или как прежде, в другом существовании, терпеливо ждал субботы, чтобы наконец сжать в своих объятьях тело Марии. А ведь, если вдуматься, в дупле сухого дерева я не был. Другим приходилось хуже, чем мне. Кстати, это была мамина мысль. Она постоянно повторяла, что человек привыкает ко всему.

Добавлю, что так далеко я обычно и не заходил. Первые месяцы были тяжелыми. Но то напряжение, в котором я находился, и помогло мне пережить их. Мучила меня, например, потребность в женщине. Это было естественно, я был молод. При этом я никогда не думал именно о Марии. Нет, я так неотвязно думал о женщине вообще, о разных женщинах, о всех тех,

которых я знал, о том, как и когда были у меня с ними сношения, что камера моя, казалось, была наполнена их лицами и одушевлена моим влечением к ним. В известном смысле это нарушало мое равновесие. Но в другом — убивало время. Ко мне был почему-то расположен старший сторож, присутствовавший при раздаче пищи. Он первый заговорил со мной о женщинах и сказал, что заключенные жалуются на это больше всего. Я ответил, что вполне с ними согласен и что на мой взгляд обращаются с нами несправедливо. — «Но ведь для этого-то и сажают вас в тюрьму», — сказал он. — «Как для этого?». — «Ну, да, это-то ведь и есть свобода. А вас лишают свободы». Прежде мне это никогда не приходило в голову и я решил, что он прав. «Да, это так, — сказал я ему. — Иначе в чем же было бы наказание?». — «Вот, вы понимаете порядок вещей. Другие не понимают. Но в конце концов облегчают они себя сами». Сказав это, сторож ушел.

Мучило меня и отсутствие папирос. При заключении в тюрьму у меня отобрали пояс, шнурки от башмаков, галстук и все, что было в карманах, в том числе и папиросы. Уже будучи в камере, я потребовал, чтобы мне их отдали. Но оказалось, это запрещено. Первое время мне было очень тяжело. Может быть именно это больше всего меня и угнетало. Я обсасывал кусочки дерева, отламывая их от досок, на которых спал. Целыми днями меня тошнило. Я не мог понять, почему меня лишают того, что никакого вреда никому не причиняет. Потом я догадался, что это тоже было частью наказания. Но к тому времени я уже отвык от курения и наказание перестало быть для меня наказанием.

Если эти неприятности отбросить, особенно несчастен я не был. Скажу еще раз, все дело заключалось в том, чтобы убить время. Перестал я скучать с того момента, как научился жить воспоминаниями. Порой я припоминал свою комнату и в воображении ходил по ней вдоль и поперек, представляя себе все, что в ней находится. В начале это быстро приходило к концу. Но при повторении длилось это с каждым разом дольше. Я мысленно видел стол или шкаф, представлял себе то, что в том или другом находится, разглядывал каждую вещь и в каждой вещи какую нибудь ее особенность, например резьбу, трещинку, отбитый край, цвет или поверхность на ощупь. В то же время я старался соблюдать последовательность в инвентаре и опись составить полную. По прошествии нескольких недель я способен был проводить часы и часы, перечисляя все находящееся в моей комнате. Чем напряженнее я о ней думал, тем большее количество забытых или заброшенных предметов всплывало в моей памяти. Я понял тогда, что достаточно было бы человеку прожить один день, чтобы затем оказаться в состоянии безмятежно провести в тюрьме сто лет. Воспоминания не дали бы ему скучать. Как никак, это было преимуществом.

Несколько слов по поводу сна. В начале я ночью плохо спал, а днем не мог заснуть ни на минуту. Постепенно ночи стали спокойнее и удавалось мне задремать даже днем. В последние месяцы я спал от шестнадцати до восемнадцати часов в сутки. Оставалось всего шесть часов, которые я убивал едой, естественными надобностями, воспоминаниями и историей, происшедшей в Чехословакии.

На нарах, под соломенным тюфяком, я как-то нашел почти склеившийся с ним, пожелтелый, просаленный обрывок газеты. В отделе происшествий сообщалось о случае, который по-видимому произошел в Чехословакии. Начало рассказа отсутствовало. Какой-то человек покинул свою родную чешскую деревню и отправился искать счастья. Спустя двадцать пять лет он вернулся богатым, с женой и ребенком. Мать и сестра его содержали в деревне гостиницу. Думая их ошеломить, он оставил жену и ребенка в другой гостинице и пошел к матери. Та его не узнала. Шутки ради он снял комнату, показав при этом толстую пачку денег. Ночью мать и сестра убили его ударом молотка по голове, ограбили, а тело бросили в реку. Утром пришла жена и ничего не подозревая, открыла, кто был их постоялец. Мать повесилась, сестра утопилась. Я перечел эту историю тысячи раз. С одной стороны было в ней что-то неправдоподобное. С другой — все казалось вполне естественно. Во всяком случае, человек этот, по моему, играл комедию напрасно и получил по заслугам.

Так время и прошло: сон, воспоминания, чтение чехословацкого происшествия, чередование тьмы и света. Прежде я где-то читал, что в тюрьме теряется представление о времени. Тогда мне это показалось пустой выдумкой. Я не понял, что дни могут быть и длинными, и вместе с тем короткими. Длинными в том смысле, что их надо чем-нибудь заполнить, однако, настолько растянутыми, что в конце концов один сливается с другим. Невозможно определить, какой сегодня день. Вчера или завтра: все другие названия утратили для меня значение.

Однажды сторож сказал мне, что я в тюрьме уже пять месяцев, и я ему поверил, хотя и не понял его. На мой взгляд в камере длился все тот же день и занят я был все одним и тем ж. После ухода сторожа я взглянул на себя в свой жестяной котелок. Лицо показалось мне мрачным, хотя я и пытался улыбнуться. Я встряхнул котелок и улыбнулся снова. Лицо попрежнему оставалось строгим и грустным. День клонился к вечеру, и был это час, о котором я не люблю говорить, час без имени и названия, когда вечерние шорохи поднимаются от всех этажей тюрьмы и рассеиваются в тишине. Я приблизился к окошечку и в последних лучах света опять взглянул на себя. Лицо было попрежнему серьезно, да и могло ли быть иначе, раз серьезен был я сам? Но в то же время я впервые за несколько месяцев отчетливо услышал звук своего голоса. Это был тот же голос, который давно уже звенел в моих ушах, и тут я понял, что в течение всего этого времени говорил сам с собой. Я вспомнил тогда то, что сказала сиделка на маминых похоронах. Нет, выхода не было, и никто не в силах представить себе, что такое вечера в тюрьмах.

III

Могу сказать, что в сущности лето очень быстро сменилось другим летом. Я знал, что с первыми теплыми днями произойдет в моей участи что-то новое. Дело мое было назначено на первую сессию суда присяжных, оканчивалась же эта сессия в июне. Город был уже

весь залит солнцем, когда начался мой процесс. Адвокат уверял меня, что продлится он не больше двух-трех дней. «Суд будет торопиться, — говорил он, — так как дело ваше не самое важное в сессии. Тотчас же вслед за ним на повестке стоит дело об отцеубийстве».

За мной пришли в семь с половиной часов утра и в тюремном фургоне доставили в здание суда. Два жандарма ввели меня в маленькую комнату, где пахло плесенью. Ждать пришлось, сидя у дверей, за которыми слышались голоса, какие-то вызовы, шум передвигаемых стульев, и все это напомнило мне благотворительные празднества, когда по окончании концерта в зале освобождают место для танцев. Жандармы сказали, что заседание еще не началось, и один из них предложил мне папиросу, от которой я отказался, и спросил, волнуюсь ли я. Я ответил, что не волнуюсь. Меня, пожалуй, даже интересовало посмотреть, как происходит процесс. Никогда в жизни я в судах не бывал. «Да, — сказал второй жандарм, — но в конце концов это утомительно».

Немного спустя в комнате раздался звонок. Жандармы сняли с меня наручники и открыли дверь, за которой находилась скамья подсудимых. Зал был набит битком. Шторы были спущены, но солнце кое где пробивалось в щели, и было уже очень душно. Окна были заперты. Мы сели: я в середине, жандармы по бокам. На другой стороне я увидел ряд лиц. Все они смотрели на меня: я понял, что это присяжные. Но сказать, чем один отличался от другого, я затруднился бы. Впечатление у меня было такое, как если бы я сидел в трамвае и незнакомые пассажиры разглядывали вновь во-

шедшего с намерением обнаружить в нем что-либо смешное. Конечно, мысль это была нелепая, потому, что здесь они вглядывались не в чудака, а в преступника. Но разница не велика, и так или иначе, пришла мне в голову именно эта мысль.

Надо сказать и то, что в запертом, переполненном зале я слегка ошалел. Еще раз взглянув на публику, я как и прежде оказался не в силах отличить одно лицо от другого. Насколько помню, сначала я не отдавал себе отчета, что все эти люди пришли сюда ради меня. Обычно люди мало обращали на меня внимания. Не без усилия я понял, что причиной всей этой суматохи был именно я. «Сколько народа!», сказал я жандарму. Он ответил, что это из-за газет, и указал мне на кучку людей, находившихся у стола, чуть-чуть ниже скамьи присяжных. «Вот они», сказал он. Я спросил: «Кто?». Он повторил: «Газеты». С одним из журналистов он был знаком, и тот заметил его и направился в нашу сторону. Это был человек уже не молодой, симпатичный, со слегка подергивавшимся лицом. Он очень дружески пожал жандарму руку. Я обратил внимание на то, что все эти люди переходили от одного к другому, обменивались замечаниями, беседовали, будто они в клубе, где собравшиеся объединены принадлежностью к одному и тому же обществу. Я понял, что должен среди них выделяться, как человек незваный или какой-то втируша. Однако журналист улыбнулся и, обратившись ко мне, выразил надежду, что все кончится для меня благополучно. Я поблагодарил его и он добавил: «Знаете, мы немножко раздули ваше дело. Летом в газетах решительно не о чем писать. Кроме

вашей истории и дела этого отцеубийцы не было ровно ничего интересного». Затем он указал мне в той же кучке людей маленького человека похожего на разжиревшую ласку, с огромными очками в черной оправе. Это был специальный корреспондент одной из парижских газет. «Приехал он сюда не для вас. Но заодно с отчетом о процессе отцеубийцы его просили написать и о вашем деле». Я и тут едва не поблагодарил его, но потом сообразил, что это было бы нелепо. Он дружески помахал мне рукой и удалился. Прошло еще несколько минут.

Явился мой адвокат, в тоге, окруженный другими адвокатами, направился к журналистам и пожал им руки. Они шутили, смеялись и были, как у себя дома, пока в зале не раздался звонок. Все заняли свои места. Мой адвокат подошел ко мне, пожал руку и посоветовал отвечать на вопросы коротко, не беря на себя никакой инициативы и во всем положась на него.

Слева от себя я услышал звук отодвигаемого стула и увидел высокого, худощавого человека, одетого в красное и с пенснэ на носу. Он сел, бережно расправив свою мантию. Это был прокурор. Судебный пристав крикнул: «Суд идет». В тот же момент послышалось гудение двух огромных вентиляторов. Вошло трое судей с папками в руках, один в красном, другие два в черном, и быстро направились к трибуне, возвышавшейся в глубине зала. Тот, что был в красном, сел в кресло, положил перед собой свою шапочку, обтер платком лысый череп и объявил, что заседание открыто.

Журналисты держали перья наготове. Вид у них был равнодушный и слегка насмешливый. Лишь один

из них, моложе других, в сером фланелевом костюме с синим галстуком, отложив свое перо смотрел на меня. Лицо у него было угловатое и видел я только очень светлые глаза, внимательно и без какого-либо определенного выражения на меня уставившиеся. Как ни странно, мне показалось, что это я сам смотрю на себя. Может быть именно вследствие этого, да еще потому, что судебных порядков я не знал, мне не совсем было понятно все то, что произошло дальше: жеребьевка присяжных, вопросы председателя обращенные к адвокату, прокурору и к ним (каждый раз все головы присяжных, как одна, повертывались к судьям), торопливое чтение обвинительного акта, в котором мелькали знакомые мне имена и названия, и наконец снова вопросы моему адвокату.

Председатель сказал, что приступит к вызову свидетелей. Пристав огласил список имен привлечших мое внимание. Из толпы собравшихся, в которой до этого все для меня сливалось, поднялись один за другим директор и сторож приюта, старик Фома Перэз, Рэмон, Массон, Саламано, Мария. Она тревожно помахала мне рукой. Не пришел я еще в себя от удивления, что не заметил их раньше, как поднялся Селест, имя которого было оглашено последним. Рядом с ним сидела та маленькая незнакомка, которая однажды обедала в ресторане за моим столом, в той же жакетке, с тем же своим решительным и сосредоточенным видом. Она пристально на меня смотрела. Не успел я ни о чем подумать, как раздался голос председателя, сказавшего, что приступает к разбирательству дела и что ему представляется излишним просить публику о соблюдении спокойствия.

Приговор должен быть вынесен присяжными в соответствии с духом подлинной справедливости, и при малейшем инциденте он во всяком случае потребует, чтобы публика очистила зал.

Духота усиливалась и многие в зале обмахивались газетами. Слышался шорох скомканной бумаги. Председатель сделал знак приставу и тот принес три веера из плетеной соломы, которые немедленно были пущены судьями в ход.

Тотчас же начался мой допрос. Председатель обращался ко мне спокойно и даже, как мне показалось, довольно благосклонно. Меня еще раз попросили назвать имя и фамилию, и несмотря на раздражение, я подумал, что в сущности это правильно, так как недопустимо было бы судить не того, кого следует. Затем председатель начал рассказ о том, что я сделал, через каждые три фразы обращаясь ко мне: «Было именно так, не правда ли?». Я неизменно отвечал: «Да, господин председатель», как научил меня адвокат. Длилось это долго, потому, что рассказывал председатель с большими подробностями. Журналисты все время писали. Я чувствовал на себе взгляд самого молодого из них и маленькой женщины похожей на автомат. Трамвайная скамья была вся повернута к председателю. Тот кашлянул, перелистал бумаги и, обвеиваясь, обратился ко мне.

Он сказал, что должен теперь перейти к вопросам, которые могут показаться не имеющими отношения к делу, хотя в действительности они близко его касаются. Я понял, что он имеет в виду маму, и почувствовал, как это мне неприятно. Почему я поместил маму в при-

ют? — спросил он. Я ответил, что сделал это по недостатку средств, необходимых для ухода за ней. Он спросил, было ли мне это тяжело. Я ответил, что ни мама, ни я больше ничего друг от друга не ждали, как впрочем и ни от кого, и что мы оба свыклись с нашим новым образом жизни. Председатель сказал, что не хочет больше на этой стороне дела настаивать и справился у прокурора, нет ли у того ко мне вопросов.

Прокурор сидел ко мне боком и не оборачиваясь сказал, что с разрешения председателя хотел бы знать, возвратился ли я к ручью с намерением убить араба. «Нет», ответил я. «Так отчего же вы были вооружены и отчего оказались именно там?». Я сказал, что это произошло случайно. Прокурор хмуро пробормотал: «Других вопросов у меня пока нет». Все дальнейшее прошло сбивчиво, по крайней мере на мой взгляд. Однако, после каких-то переговоров, председатель объявил перерыв и сказал, что заседание возобновится во второй половине дня.

Подумать о чем-либо у меня не было времени. Меня увели, посадили в фургон и увезли в тюрьму, где я позавтракал. Едва успел я почувствовать, что утомлен, как за мной пришли снова. Все возобновилось, я оказался в том же зале, с теми же физиономиями напротив. Но было гораздо жарче и каким-то чудом у каждого из присяжных, у прокурора, у моего адвоката и у нескольких журналистов оказалось в руках по соломенному вееру. Молодой журналист и маленькая женщина сидели на своих местах. Но они не обвеивались и попрежнему молча смотрели на меня.

Я обтер с лица пот и пришел в себя только тогда, когда услышал, что вызвали директора приюта. Его спросили, жаловалась ли на меня мама, и он ответил, что да, жаловалась, но что жаловаться на родственников вошло у всех призреваемых в привычку. Председатель попросил его уточнить, упрекала ли меня мама в том, что я поместил ее в **приют**. Директор снова ответил утвердительно, но на этот раз ничего к своим словам не добавил. На другой вопрос он ответил, что был удивлен моим спокойствием в день похорон. Его спросили, что он подразумевает под словом «спокойствие». Директор покосился на носки своих башмаков и сказал, что я не пожелал взглянуть на маму, ни разу не всплакнул и уехал сразу после похорон, даже не склонив перед могилой головы. Одна мелочь так же удивила его: служащий похоронного бюро сказал ему, что я не знал маминого возраста. После короткого молчания председатель спросил директора, относятся ли его показания именно ко мне. Тот не понял вопроса и председатель сказал: «Этого требует закон». Затем, обратившись к прокурору, он спросил, нет ли у него вопросов к свидетелю, и тот воскликнул: «О, нет, достаточно и этого!». При этом у него был такой торжествующий голос и он с таким видом взглянул на меня, что впервые за много лет я, как дурак, едва не заплакал, почувствовав, что все эти люди меня ненавидят.

Председатель справился у присяжных и у моего адвоката, нет ли и у них вопросов, а затем вызвал приютского сторожа. Повторилась та же церемония, что и для следующих свидетелей. Став на указанное ему место, сторож взглянул на меня и отвел глаза. Затем

ответил на заданные ему вопросы. Он сказал, что я не пожелал видеть маму, что я курил, спал и выпил чашку кофе с молоком. В публике я уловил смутное возмущение и в первый раз понял, что я виновен. Сторожа попросили повторить рассказ о кофе с молоком и о папиресе. Прокурор бросил на меня насмешливый взгляд. В этот момент мой адвокат спросил сторожа, не курил ли и он вместе со мной. Однако, прокурор с ожесточением запротестовал: «Кто здесь подсудимый, и допустимы ли методы, сводящиеся к тому, чтобы очернить свидетелей обвинения и умалить значительность показаний, которые во всяком случае чудовищны?». Несмотря на его возмущение, председатель предложил сторожу ответить на поставленный вопрос. Сторож смущенно сказал: «Да, я виноват, признаюсь. Но они протянули мне папиросу и я не посмел им отказать». Наконец спросили меня, хочу ли я что-нибудь добавить. Я ответил: «Нет, ничего, кроме того, что свидетель прав и что я действительно предложил ему папиросу». Сторож взглянул на меня с удивлением и как будто с благодарностью. Поколебавшись, он сказал, что чашку кофе предложил мне он сам. Мой адвокат едва не захлопал в ладоши и громко заявил, что присяжные оценят по достоинству значительность этого показания. Но тотчас же прогремел голос прокурора: «Да, присяжные оценят показание. И они придут к заключению, что человек посторонний мог предложить кофе, но что сын, перед телом той, которая дала ему жизнь, обязан был от кофе отказаться». Сторож удалился.

Когда вызвали Фому Перэза, приставу пришлось довести его под руку до места предназначенного для

свидетелей. Перэз сказал, что хорошо знал мою мать, а меня видел только один раз, в день похорон. Его спросили, что я в этот день делал, и он ответил: «Знаете, я был слишком удручен. От горя я не видел ничего. Для меня это была очень большая утрата. Я даже лишился чувств. Так что молодого человека я не видел». Прокурор спросил, видел ли он по крайней мере, что я плачу. Перэз ответил: «Нет». Тогда в свою очередь прокурор сказал: «Присяжные это оценят». Но мой адвокат рассердился. Тоном, который показался мне не совсем уместным, он спросил Перэза, видел ли он, что я не плачу. Перэз сказал: «Нет». В публике слышался смех. Отвернув рукава, адвокат мой сказал не допускающим возражений голосом: «Вот что такое этот процесс. Все достоверно и нет ничего достоверного!». Нахмурившись, прокурор молчал и лишь постукивал карандашом по лежавшим перед ним папкам.

Был объявлен перерыв на пять минут, во время которого мой адвокат сказал мне, что все идет превосходно. После этого был вызван Селест в качестве свидетеля защиты. Под защитой подразумевался я. Селест время от времени поглядывал в мою сторону и вертел в руках соломенную панаму. На нем был новый костюм, тот, который он надевал по воскресеньям, когда мы с ним отправлялись на скачки. Но воротничка на его рубашке не было и застегнута она была медной запонкой. Его спросили, был ли я его клиентом. Он сказал: «Да, но это и мой приятель». Какого он обо мне мнения? Он ответил: «Человек, что надо». Что именно это значит? Селест заявил, что это понятно всякому. Заметил ли он, что я не общителен? Он признал, что

пустым болтуном я действительно не был. Прокурор спросил, аккуратно ли я платил по счетам. Селест засмеялся и сказал: «Да мы на это и внимания не обращали». Его спросили, что он думает о совершенном мной преступлении. Тут он положил руку на барьер, отделявший его от судей, и видно было, что к этому вопросу он приготовился. «По-моему, — сказал он, — это несчастье. Все знают, что такое несчастье. Помочь тут ничем нельзя. Так вот, по моему это несчастье». Он хотел что-то добавить, но председатель остановил его, заявив что сказанного достаточно и что суд его благодарит. Селест был по-видимому озадачен и заявил, что хотел бы сказать еще несколько слов. Его попросили быть кратким. Он еще раз повторил, что это несчастье. Председатель сказал: «Да, да, конечно, но ведь мы здесь для того и находимся, чтобы судить такого рода несчастья. Благодарю вас за показание». Будто не зная, на что решиться и как все происходящее понять, Селест повернулся в мою сторону. Кажалось, он спрашивает меня, что можно еще сделать. Губы его дрожали, глаза были влажны. Я не шеломнулся, не сказал ни слова, но впервые в жизни мне захотелось человека поцеловать. Председатель снова предложил ему оставить место, предназначенное для свидетелей. Селест удалился вглубь зала. До конца заседания он сидел слегка наклонившись, уставив локти в колени, с панамой в руках, и слушал то, что говорилось. Вошла Мария. Она была в шляпе и казалась еще красивой. Но мне она больше нравилась с распущенными волосами. Издалека я угадывал легкие очертания ее грудей и видел нижнюю губу, всегда немного при-

пухшую. По-видимому она нервничала. Тотчас же ее спросили, с какого времени она меня знает. Мария ответила, что в таком-то году работала в нашей конторе. Председатель пожелал узнать, каковы были наши отношения. Она сказала, что была со мной в связи. На следующий вопрос она ответила, что действительно должна была выйти за меня замуж. Прокурор, перелистывая бумаги, спросил ее, когда началась наша связь. Она назвала месяц и число. С самым небрежным видом прокурор заметил, что, если не изменяет ему память, накануне умерла моя мать. Затем он с легкой иронией сказал, что не хотел бы настаивать, что положение Марии щекотливо и что он понимает ее замешательство, но что долг — и тут голос его стал более жестким — заставляет его пренебречь условностями. Поэтому он просит Марию полностью восстановить все, что было в тот день, когда мы вступили в связь. Мария молчала, но видя, что прокурор от своего требования не отступится, рассказала, как мы купались, как пошли в кино и потом вернулись ко мне. Прокурор заметил, что основываясь на показаниях Марии у судебного следователя, он выяснил, какая в тот день была программа в кино. Но пусть Мария сама скажет, какой шел тогда фильм. Еле слышным голосом она ответила, что это был фильм Фернанделя. В зале воцарилась мертвая тишина. Прокурор тяжело поднялся и голосом, который показался мне подлинно взволнованным, указывая на меня пальцем, с расстановкой проговорил: «Господа присяжные, перед вами человек, который едва похоронив свою мать, купался, вступил в беспутную связь и отправился хохотать в кино. Больше мне вам сказать нечего». В той же

мертвой тишине он опустился в кресло. Но вдруг Мария разрыдалась и сказала, что все было совсем не так, что есть многое другое, что ее заставляют говорить не то, что она думает, что она хорошо меня знает и что ничего дурного я не сделал. Но по знаку председателя пристав увел ее и заседание продолжалось.

Не произвело никакого впечатления показание Массона, заявившего, что я человек честный и «даже он сказал бы больше, человек порядочный». Не произвело впечатления и то, что сказал Саламано, напомнивший, что я хорошо относился к его собаке. На вопрос о моем отношении к матери, он сказал, что у нас с мамой не было уже почти ничего общего и что потому-то я и поместил ее в приют. «Надо все это понять, — повторял Саламано, — надо понять». Но не понимал по-видимому никто. Его увели.

Затем настала очередь Рэмона, который был последним свидетелем. Рэмон кивнул мне и сразу же сказал, что я ни в чем не виновен. На это председатель заявил, что суду нужны факты, а вовсе не мнения свидетелей, и попросил Рэмона подождать, пока ему будут заданы вопросы. Каковы были его отношения с убитым арабом? Рэмон ответил, что убитый ненавидел не меня, а его, и что причиной ненависти была пощечина, которую он дал его сестре. Однако председатель спросил, не было ли у убитого причин ненавидеть и меня. Рэмон сказал, что на пляже я оказался случайно. Прокурор спросил, как же объяснить, что письмо приведшее к драме написано было именно мной. Рэмон ответил, что и это случайность. Прокурор возразил, что в этой исто-

рии у случая на совести что-то слишком много грехов. Случайно ли я не остановил Рэмона, когда он бил свою любовницу по щекам, случайно ли я оказался свидетелем в комиссариате, случайно ли мои показания были для него столь благоприятны? В заключение он спросил Рэмона, каковы его средства существования, и когда тот ответил, что он кладовщик, прокурор, обратившись к присяжным, заявил, что профессия свидетеля ни для кого тайны не представляет и что он сутенер. А я, мол, его сообщник и друг. Речь идет следовательно о преступлении самого гнусного рода, да вдобавок и совершенном каким-то нравственным выродком. Рэмон стал оправдываться, запротестовал и мой адвокат, но председатель заявил, что прерывать прокурора не позволит. Тот сказал: «Да мне, пожалуй, и добавить нечего», и обратившись к Рэмону спросил: «Скажите, он был вашим другом?». «Да, — ответил Рэмон, — это мой приятель». Тот же вопрос прокурор задал и мне. Я взглянул на Рэмона. Глаз он не отвел, и я сказал: «Да». Прокурор обернулся к присяжным и заявил: «Тот же человек, который на следующий день после смерти своей матери предавался постыднейшему разврату, тот же человек не колеблясь совершил убийство, в сущности лишь для того, чтобы выпутаться из грязной и отвратительной истории».

Сказав это, он сел. Но мой адвокат не в силах был больше сдерживаться и вскинув руки так, что из под рукавов мелькнули складки накрахмаленной рубашки, воскликнул: «В конце концов в чем его обвиняют, в том ли, что он похоронил свою мать или в

том, что убил человека?». Публика засмеялась. Но прокурор снова встал и, приняв величественную позу, заметил, что надо быть столь простодушным человеком, как уважаемый защитник, чтобы не уловить глубокой, патетической, коренной связи между тем и другим. «Да, — с ожесточением воскликнул он, — да я обвиняю этого человека в том, что когда он хоронил свою мать в груди его билось сердце преступника». Это заявление по-видимому произвело сильное впечатление на присутствующих. Мой адвокат пожал плечами и отер со лба обильный пот. Но даже он казался поколебленным, и я понял, что дело принимает для меня оборот неблагоприятный.

Заседание было закрыто. Выйдя из здания суда и прежде чем сесть в фургон, я на мгновение ощутил прелесть летнего вечера с его запахами и красками. В полумраке этой тюрьмы на колесах, усталый, погруженный в самого себя, я различал все до одного шумы любимого города и чувствовал, что это тот час, когда, бывало, мной овладевала какая-то особая беспечность. Выкрики газетчиков на уже затихавших улицах, птицы в скверах, голоса торговцев сэндвичами, жалобное взвизгивание трамваев на крутых поворотах и какой-то неясный гул, несшийся оттуда, с неба, перед тем, как ночь окутает порт, все это вслепую восстанавливало для меня то, что было мне так хорошо знакомо до заключения. Да, это был час, когда я бывал охвачен беспечностью. Но как это было давно! Что ожидало меня в те дни? Легкий сон без всяких сновидений. С тех пор, очевидно, что-то изменилось, ибо теперь, в

ожидании следующего дня, я вернулся в камеру. Нечертанные в летнем небе пути, казалось, с тем же безразличием вели человека в тюрьму, как и обещали ему безмятежный сон.

IV

Слушать, что о тебе говорят, всегда интересно, даже если сидишь на скамье подсудимых. Должен заметить, что и в речи прокурора, и в речи моего адвоката сказано было обо мне много, и даже пожалуй больше обо мне самом, чем о моем преступлении. Чем в сущности отличались эти речи одна от другой? Адвокат взмахивал руками и утверждал, что я виновен, но заслуживаю снисхождения. Прокурор простирает руки вперед и утверждал, что снисхождения я не заслуживаю. Одно только смущало меня. Несмотря на озабоченность, мне порой хотелось сказать несколько слов, но адвокат каждый раз останавливал меня. «Молчите, это для вас же лучше!». Выходило, значит, что к делу я касательства как будто не имел. Все протекало без моего участия. Решалась моя судьба, а мнением моим никто не интересовался. Иногда я готов был прервать говоривших и спросить: «Позвольте, господа, кто же все-таки тут обвиняемый? Это ведь вовсе не пустячек, быть обвиняемым! Мне тоже есть что сказать». Но если вдуматься, сказать мне было нечего. Да кроме того, если сначала и лестно чувствовать себя в центре всеобщего внимания, то длится это не долго. Речь прокурора,

например, мне быстро наскучила. Запомнились мне или поразили меня лишь его жесты, отдельные замечания или тирады, порой даже длинные, но выхваченные из его речи, как целого.

Насколько я понял, основная его мысль сводилась к тому, что преступление мое было предумышлено. На этом он свою речь и построил. Так он и сказал: «Я докажу вам это, господа, и докажу двояким образом. Сначала в ослепительном свете фактов, а затем в той полутьме, которая охватит нас при проникновении в психологию этой преступной души». Факты он изложил начиная с маминой смерти. Напомнил он и мою бесчувственность, и незнание маминого возраста, и купание на следующий день вместе с женщиной, и кино, и Фернанделя, и возвращение домой с Марией. Я не сразу его понял, так как он говорил «его любовница», а для меня она была просто Марией. Затем он перешел к Рэмону. На мой взгляд излагал он все перипетии этой истории довольно ясно. Все, что он говорил, было правдоподобно. Письмо я, мол, написал в согласии с Рэмонам, чтобы вовлечь его любовницу в западню, где она оказалась бы во власти человека «сомнительной нравственности». На пляже, при встрече с врагами Рэмона, я вел себя вызывающе. Рэмон был ранен. Я взял его револьвер и вернулся на место драки один. Араба я убил отнюдь не случайно. Выстрелив в первый раз, я подождал. А затем, чтобы не оставалось сомнений, что дело сделано, как следует, спокойно, в упор выстрелил еще четыре раза.

«Вот, значит, как обстоит дело, господа присяжные», — сказал прокурор. — Я изложил вам все то,

что привело этого человека к преднамеренному убийству. Ибо на этом я настаиваю. Речь идет не о заурядном преступлении, не о поступке необдуманном, который мог бы вам показаться заслуживающим смягчающих обстоятельств. Этот человек, господа, — человек неглупый. Вы слышали его ответы, не правда ли? Он находчив, он знает, что сказать. Он отдает себе отчет в значении слов. И никак нельзя предположить, что он действовал, не понимая, что делает».

Я слушал и отметил то, что меня считают умным. Но мне не совсем было понятно, каким образом свойства обыкновенного человека могут превратиться в нечто бесспорно доказывающее его преступность. Это меня поразило, и больше за речью прокурора я не следил, пока он не сказал: «Выразил ли он хотя бы раскаяние? Нет, господа, ни разу. Ни разу в течение всего следствия он не утратил спокойствия при напоминании о его ужасающем злодеянии». В эту минуту он обернулся ко мне и, указывая на меня пальцем, продолжал уличать и обвинять меня, без того, чтобы я в силах был понять причину его возмущения. Конечно, я сознавал, что по существу он прав. Особого раскаяния я не испытывал. Но озлобление прокурора удивляло меня. Мне хотелось бы дружески, без малейшего раздражения, объяснить ему, что не сожалел я никогда ни о чем. Неизменно мне представлялось, что все случившееся должно было случиться, не сегодня, так завтра. Но разумеется теперь, со скамьи подсудимых, в таком тоне я не мог бы говорить ни с кем. Я не вправе был проявить благодушие, расположение к людям. Поэтому

я снова стал следить за речью прокурора, принявшегося говорить о моей душе.

Он сказал, что пытался вникнуть в нее и не нашел в ней ровно ничего, господа присяжные. Истина заключалась, по его словам, в том, что души у меня не было, и что все человеческое, все нравственные принципы, облагораживающие сердца людей, мне чужды. «Конечно, упрекать его в этом было бы нелепо. Нельзя ставить человеку в вину, что у него того-то нет, что ему то-то недоступно. Но поскольку находимся мы в суде, терпимость должна уступить место другому началу, более суровому, однако и более высокому: началу правосудия. Особенно в тех случаях, когда подобная опустошенность души и сердца превращается в бездну, угрожающую поколебать устой, на которых держится наше общество». Тут он заговорил о моем отношении к маме. Повторил он то, что сказал раньше. Но коснувшись мамы, он сделался гораздо словоохотливее, чем когда говорил о моем преступлении, и в конце концов я перестал его слушать, думая только о том, какое сегодня жаркое утро. Однако, я невольно насторожился, когда прокурор вдруг умолк и потом проговорил глухим и проникновенным голосом: «Завтра, господа, в этом же суде будет слушаться дело о самом страшном из всех преступлений: дело об отцеубийстве». По его мнению нельзя представить себе ничего чудовищнее. Надо надеяться, что правосудие окажется беспощадным. Но он принужден признаться, что ужас, который испытывает он при мысли о подобном преступлении едва ли не слабее того, который внушает ему моя бесчувственность. По его убеждению моральный убийца матери

так же ставит себя вне всякого организованного общества, как и тот, кто поднял руку на человека, давшего ему жизнь. Во всяком случае первое из этих преступлений подготавливает второе, предвещает его и в известном смысле узаконивает его. «Я уверен, господа, — добавил он, возвысив голос, — что вы не припишете мне склонности к парадоксам, если я скажу, что человек, сидящий на этой скамье, ответственен и за убийство, о котором речь будет завтра. Кару он должен понести в соответствии с тем, что сделал». Тут прокурор вытер блестящее от пота лицо и сказал, что долг его тягостен, но что выполнит он его до конца. Мне нечего по его мнению делать в обществе, основные принципы которого мной были попраны и я не имею права взывать к милосердию, раз я даже не знаю, что это значит. «Господа, я требую головы этого человека, — сказал он, — и требую ее без малейших колебаний. На протяжении моей долгой деятельности мне не раз приходилось высказываться за применение высшей меры наказания, но никогда еще я не чувствовал с такой ясностью, как чувствую сегодня, что этот тяжелый долг находится в согласии с властными и священными велениями совести и с ужасом, который овладевает мной при виде человека, превратившегося в чудовище».

Прокурор сел и в зале воцарилась довольно долгая тишина. Мысли мои путались и от духоты, и от удивления. Председатель кашлянул и спросил меня, хочу ли я что-нибудь добавить. Я встал и так как говорить мне хотелось, сказал почти наудачу, что намерения убить араба у меня не было. Председатель ответил, что утверждать можно все решительно, что до сих пор он

не в силах был понять, на чем я основываю свою защиту и что прежде, чем дать слово адвокату, он хотел бы, чтобы я уточнил мотивы, внушившие мне мой поступок. Немного путаясь и чувствуя нелепость своего заявления, я быстро сказал, что всему виной было солнце. В зале послышались смешки. Мой адвокат пожал плечами и вслед за тем слово было предоставлено ему. Но он заявил, что уже поздно, что речь его займет несколько часов и что он просит перенести заседание на вторую половину дня. Суд дал на это согласие.

После перерыва в зале все так же вертелись огромные вентиляторы, рассеивавшие спертый воздух, и так же равномерно колыхались в руках присяжных маленькие разноцветные веера. Речи моего адвоката, казалось, не будет конца. Был, однако, момент, когда я стал его слушать. Он сказал: «Что правда, то правда: я убил». И дальше он все время, говоря обо мне, употреблял местоимение «я». Я был сильно удивлен и наклонившись к жандарму, спросил его, что это значит. Тот велел мне молчать, а потом сказал: «Все адвокаты это делают». А я-то думал, что ему хотелось еще больше отстранить меня от дела, свести меня к нулю и в каком-то смысле заменить меня собой. Но по-видимому я был уже очень далек от всего происходившего в зале. Адвокат мой казался мне смешон. Он вскользь коснулся того, что я был будто бы спровоцирован и в свою очередь заговорил о моей душе. Но на мой взгляд таланта у него было много меньше, чем у прокурора. «Я тоже, — сказал он, — дал себе труд проникнуть в эту душу, но в противоположность глубоко чтимому представителю обвинения я нашел в ней многое и читал ее, как рас-

крытую книгу». Прочел он, что я был честный человек, усердный, неутомимый труженик, преданный тому делу, в котором работал, всеми любимый и готовый каждому помочь в беде. По его убеждению я был примерным сыном, поддерживавшим мать, пока у меня была на это возможность. Если я поместил мать в приют, то лишь в надежде, что там старушка будет окружена заботой и уходом, которых по недостатку средств дать ей я не мог. «Позвольте, господа, выразить удивление, что здесь так много говорилось об этом приюте. Ведь если бы нужно было представить доказательство необходимости и великого значения подобных учреждений, то следовало бы прежде всего напомнить, что содержатся они на средства самого государства». О похоронах он не сказал ничего и я почувствовал, что это в его речи пробел. Однако, в результате всех этих длинных фраз, всех этих бесконечных часов, в течение которых речь шла о моей душе, у меня возникло впечатление, что я растворяюсь в чем-то бесцветно-водянистом и впадаю в забытьё.

Помню только, что к концу заседания, пока адвокат мой все говорил и говорил, до меня донесся с улицы, сквозь все эти залы и приемные, рожок мороженщика. В памяти моей мгновенно промелькнули воспоминания о жизни, больше мне не принадлежавшей, но в которой заключалось все то бедное и незаменимое, чему я бывало радовался: летние запахи, любимый квартал города, вечернее небо, смех и платья Марии. Мне стало до тошноты отвратительно сидеть в этом зале, и ждал я только того, чтобы все это кончилось и я опять вернулся в тюрьму и лег спать. Едва расслышал я, что в

заключение своей речи адвокат, обращаясь к присяжным, выразил уверенность, что они не решатся приговорить к смерти честного труженика, лишь по минутному заблуждению оказавшегося преступником, и что он просит признания смягчающих обстоятельств, тем более, что самым тяжким моим наказанием останутся вечные угрызения совести. Заседание было прервано и адвокат в изнеможении сел. Другие адвокаты подошли к нему и пожали ему руку. «Превосходно, дорогой мой!», сказал один. Другой даже подмигнул мне, как бы приглашая в свидетели: «Ну, а вы что скажете?». Я ответил, что речь была замечательна, но одобрение мое не было искренне, так как я слишком устал.

День клонился к концу и в зале было уже не так жарко. По голосам и звукам доносившимся с улицы я угадывал возникающую к вечеру прохладу. Все находившиеся в зале чего-то ждали. И то, чего все мы ждали, касалось лишь одного меня. Я снова взглянул на публику. Журналист в сером костюме и женщина-автомат смотрели на меня. Это навело меня на мысль, что с начала процесса я ни разу не бросил взгляда на Марию. Не то, чтобы я забыл о ней, нет, но был слишком занят. Различил я ее между Селестом и Рэмоном. Она сделала мне знак рукой, как бы говоря «Наконец-то!», и на слегка встревоженном лице ее появилась улыбка. Но сердце мое было ко всему безразлично и на улыбку ее я не ответил.

Заседание возобновилось. Присяжным был торопливо прочитан ряд вопросов. Я расслышал: «виновен в убийстве»... «предумышленность»... «смягчающие обстоятельства». Присяжные удалились, а меня увели в

маленькую комнату, где я уже не раз ждал. Вошел мой адвокат: он был крайне словоохотлив и говорил со мной доверчивее и сердечнее, чем когда бы то ни было прежде. Он считал, что все идет хорошо и что отделиюсь я несколькими годами тюрьмы или каторги. Я спросил его, возможна ли кассация в случае неблагоприятного приговора. Он ответил отрицательно. Тактика его состояла в том, чтобы воздерживаться от слишком определенных заключений и не раздражать присяжных. Для кассации, по его словам, необходим был бы серьезный повод. Мне это показалось очевидно и я с ним согласился. Если спокойно вдуматься, так оно и должно быть. Иначе было бы слишком много бумажной волокиты. «Во всяком случае, — сказал адвокат, — всегда остается возможность обжалования приговора». Но он был убежден, что решение будет благоприятно.

Ждали мы очень долго, кажется около трех четвертей часа. Наконец раздался звонок. Мой адвокат ушел, сказав мне: «Старшина присяжных сейчас прочтет ответы. Вас вызовут только для того, чтобы выслушать приговор». По лестницам, не знаю, далеко ли, близко ли, бегали люди, хлопали дверьми. Затем я услышал глухой голос что-то читавший в зале. Снова раздался звонок, дверь отворилась и меня поразила мертвая тишина в зале: тишина и то, что молодой журналист, увидев меня, отвел глаза. На Марию я не взглянул. У меня не хватило на это времени, так как председатель, употребляя какие-то странные слова, сказал, что именем французского народа мне на публичной площади будет отрублена голова. Выражение лиц окружавших меня изменилось. Едва ли я ошибусь, если скажу, что на них

написано было уважение. Жандармы стали ко мне крайне предупредительны. Адвокат положил свою руку на мою. Голова моя была совершенно пуста. Но председатель спросил меня, хочу ли я чтонибудь добавить. Я подумал и сказал: «Нет». Тогда меня увели.

V

В третий раз я отказался принять тюремного священника. Мне нечего ему сказать, мне не хочется с ним говорить, да вскоре я ведь все равно увижу его. Единственное, что в данный момент меня интересует, это возможность ускользнуть от механического сцепления вещей, убедиться, что из неизбежного может найтись выход. Меня перевели в другую камеру. Лежа я вижу небо, но и только небо, больше ничего. Дни проходят в созерцании того, как постепенно гаснут в вышине краски и приближается ночь. Вытянувшись, я кладу руки под голову и жду. Не знаю, сколько раз я старался вспомнить, случилось ли в прошлом, чтобы приговоренный к смерти ускользнул от неумолимого механизма, исчез до казни, вырвался на свободу сквозь цепь полицейских. К сожалению, до сих пор я не обращал достаточно внимания на рассказы о смертной казни. А подобными вопросами надо бы интересоваться. Нельзя предвидеть, что может случиться. Разумеется, я просматривал отчеты в газетах. Но наверно существуют специальные исследования, а с ними-то я и не потрудился ознакомиться. Может быть в них я и нашел бы

рассказы о побегах. Может быть, хоть один, единственный раз машина дала осечку, и случай заодно с удачей восторжествовал над непреодолимой предумышленностью и изменил ход событий. Один единственный раз! Думаю, что с меня этого было бы достаточно. Остальное доделало бы сердце. Газеты часто писали о счете, который общество предъявляет преступнику. Надо будто бы по счету платить. Но для меня это все пустые слова. Думал я только о возможности побега, о прыжке за пределы неумолимо очерченного круга, о побеге внутреннем безумием и надеждой. В чем заключалась надежда? Само собой в том, чтобы убегая, упасть на каком-нибудь углу мертвым под несколькими шальными пулями. Но нечего было и мечтать об этом. Все было против меня, механика была всеильна.

Примириться однако с этой чудовищной очевидностью я не мог. Было какое-то нелепое несоответствие между приговором, на котором она была основана, и ее невозмутимым развертыванием начиная с минуты, когда приговор был вынесен. Тот факт, что приговор был прочитан в восемь часов вечера, а не например, в пять, тот факт, что он мог бы оказаться совсем иным, что вынесен он был людьми опрятными, а не неряшливыми, что осужден я был во имя чего-то столь неопределенного, как французский народ (или германский, или китайский народ), все это на мой взгляд лишало основательности такого рода решение. Вместе с тем я не мог не признать, что с того момента, как решение было принято, действие его становилось столь же достоверным, столь же бесспорным, как существование стены, вдоль которой стояла моя койка.

В связи со всем этим мне вспомнилось то, что рассказывала мне мама об отце. Отца я не знал. К рассказу этому, пожалуй, и сводились единственные определенные мои сведения о нем. Однажды он пошел посмотреть на казнь убийцы. Самая мысль о таком зрелище заранее ужасала его. Все же он отправился, а когда вернулся, у него сделалась рвота, продолжавшаяся все утро. Рассказ этот вызвал во мне легкое отвращение к отцу. Но теперь я его понял, и поступок его казался мне естественным. Как мог я прежде не сознавать, что нет ничего значительнее смертной казни и что в сущности для человека, для мужчины это единственная подлинно интересная вещь на свете! Если когда-нибудь я из тюрьмы выйду, то не пропущу ни одной казни. Но, пожалуй, я напрасно думал об этом. Ибо при мысли, что я стою на рассвете перед отрядом полицейских, но стою, так сказать, по эту сторону, при мысли, что я добровольный зритель, которого затем может и вырвать, какая-то ядовитая радость охватывала все мое существо. Но было это ни к чему. Не проходило и минуты, как мне становилось так страшно холодно, что я весь съеживался под одеялом. Зуб на зуб не попадал, я не в силах был с собой совладать.

Всякий знает, однако, что нельзя всегда вести себя разумно. Случалось, я придумывал новые законы. Мысленно я проводил реформу уголовного кодекса. На мой взгляд, самым существенным было бы предоставление осужденному известного шанса. Один шанс на тысячу, и то было бы не плохо. Мне представлялось, например, что можно было бы изобрести порошок, который по химическому своему составу убивал бы пациента (мыс-

ленно я употреблял именно это выражение: пациент) лишь в девяти случаях из десяти. Осужденный был бы предупрежден, таково было бы условие. Что же касается гильотины, то после обстоятельного, спокойного размышления я пришел к выводу, что неприемлемо в ней полное, абсолютное отсутствие какого либо шанса. Беспрекословно постановлено, что пациент должен умереть. Ни о каких пересмотрах, колебаниях, возражениях не допускается и речи. Если нож почему-либо срывается, операцию возобновляют. Осужденному значит приходится желать, — и это-то меня и коробило, — чтобы машина действовала исправно. Неприемлемо, скажу еще раз. Однако, если с одной стороны это так, то с другой нельзя не признать, что в этом-то и обнаруживается отличная организация. Осужденный поневоле превращается в сотрудника. В своих же собственных интересах он принужден желать, чтобы все прошло без задоринки.

Должен также признать, что до сих пор суждения мои по этим вопросам были ошибочны. Не знаю почему, мне представлялось, что приговоренный к гильотинированию должен взойти на эшафот по лестнице. Вероятно казалось мне это из-за революции 1789 года, т. е. из-за всего, что я читал или видел на картинках. Но однажды утром мне вспомнилась фотография появившаяся в газетах в связи с казнью, которая наделала много шума. Машина стояла прямо на земле, без каких либо ухищрений. Она была далеко не так широка, как я предполагал. На снимке эта стройная и прекрасно отшлифованная машина поразила меня сходством с прибором точного измерения. Впрочем, то, чего мы не

знаем, всегда представляется нам сложнее, чем есть оно на самом деле. Я убедился, что в действительности все было просто: машина находится на уровне направляющегося к ней человека. Он подходит к ней, как мог бы подойти к первому встречному. Это тоже было мне не по душе. Эшафот, лестница, по которой поднимаешься будто к небу, с этим воображение могло бы примириться. Но тут была одна только мертвящая механика: убивали тебя втихомолку, с легким стыдом и большой точностью.

Были еще две вещи, о которых я постоянно думал: рассвет и обжалование приговора. Я убеждал себя, что мысли это никчемные, и старался отвлечься. Я ложился на спину, смотрел на небо, искал в нем чего-либо такого, что приковало бы мое внимание. Небо становилось зеленым, наступал вечер. Я снова делал усилие, чтобы рассеяться, прислушивался к биению своего сердца. Мне казалось невероятным, чтобы звук, с которым я так давно свыкся, мог прерваться. Воображения у меня всегда было маловато. Однако я все же пытался представить себе то мгновение, когда биение сердца не отзовется больше в моем мозгу. Но удавалось мне это плохо. Рассвет или помилование: больше ни о чем я думать не мог. В конце концов я решил, что насиловать себя бессмысленно.

Приходят они на рассвете, это я знал. Ночи мои и проходили в ожидании рассвета. Неожиданностей я не любил никогда. Лучше знать заранее, что должно с тобой случиться. Поэтому я засыпал, да и то не надолго, лишь днем, а ночами терпеливо ждал, чтобы за окном забрезжил свет. Самым тягостным был тот не-

определенный час, когда по моим сведениям это обычно происходит. Начиная с полуночи я ждал и прислушивался. Никогда еще слух мой не улавливал столь разнообразных звуков и еле различимых шорохов. Должен все-таки сказать, что мне везло, так как шагов я не услышал ни разу. Мама часто говорила, что никогда человек не бывает безгранично несчастен. Едва розовело небо и в моей камере становилось светлее, я мысленно с ней соглашался. Ибо могло ведь случиться, что слышались бы шаги и сердце мое разорвалось бы. Даже если при малейшем шорохе я бросался к двери, даже если прижавшись к ней я ждал, ждал, пока в тишине не слышал своего собственного дыхания, пугавшего меня тем, как оно прерывисто и как напоминает предсмертный хрип собаки, даже в этих случаях сердце мое продолжало биться и впереди были еще целые сутки.

Днем мысли мои были заняты просьбой о помиловании. На мой взгляд размышления эти приняли оборот самый благоприятный. Я все взвесил, принял все возможности во внимание. Неизменно я останавливался сначала на худшем предположении: просьба моя отвергнута. «Что же делать, значит смерть». Раньше, чем для других это бесспорно. Но ведь всем известно, что жить на свете в сущности не стоит. Я сознавал, что мало разницы, умереть в тридцать лет или в семьдесят, раз в обоих случаях после тебя останутся другие мужчины и женщины, и так будет в течение тысячелетий. Ничего очевиднее нельзя себе и представить. Умру ли я теперь, умру ли через двадцать лет, это ведь я умру, я, а не кто-нибудь другой. Впрочем, при мысли, что

жизнь могла бы продлиться еще двадцать лет, я чувствовал, как все мое существо страстно рвалось вперед, и это-то меня и смущало. Приходилось внушать себе, что и через двадцать лет мысли и чувства мои остались бы такими же. Как умереть, когда умереть, значения не имеет, нельзя этого не сознавать. Следовательно, — и трудность заключалась в том, чтобы не упустить из виду всего, что в ходе моих мыслей приводило меня к этому «следовательно», — следовательно с отклонением моей просьбы я должен примириться.

После этого, но только после этого, я, так сказать, считал себя вправе перейти ко второму предположению: меня помиловали. Неприятно было то, что приходилось сдерживаться, обуздывать в себе буйный порыв, переполнявший все мое существо дикой радостью. Надо было мало по малу убеждать себя в нелепости каких бы то ни было счастливых восклицаний. Надо было даже в этом случае держаться естественно, чтобы правдоподобным оставалось мое безразличие при первой гипотезе. Если я этого добивался, несколько часов протекало в спокойствии. Пренебрегать этим все-таки не следовало.

Именно в один из таких моментов я еще раз отказался принять священника. Я лежал и по бледневшей окраске неба догадывался, что близится вечер. В воображении своем я только что отклонил просьбу о помиловании и чувствовал, что кровообращение мое совершенно спокойно. Священник не был мне нужен. Впервые за много дней я вспомнил о Марии. Давно уже она не писала мне. Подумав, я решил, что ей вероятно надоело быть любовницей приговоренного к смертной

казни. А может быть она больна или умерла. Это было бы в порядке вещей. Как мог бы я это почувствовать, раз кроме плотской, теперь распавшейся связи ничто нас не объединяло? Если бы Мария умерла, я о ней ничуть не тосковал бы. К покойнице у меня не было бы ни малейшего интереса. Мне казалось это естественным, так же как и то, что после моей смерти люди обо мне забыли бы. Должен признаться, что мысль об этом не казалась мне тягостной.

В эту-то минуту священник и вошел. Увидев его, я слегка вздрогнул. Он заметил это и сказал, что бояться мне нечего. Я ответил, что обычно приходит он при других обстоятельствах. Он сказал, что пришел как друг, и что посещение его не находится ни в какой связи с моей жалобой, о которой он ничего и не знает. Сев на мою койку, он предложил мне сесть рядом. Я отказался. Но правду сказать, вид у него был очень приветливый.

Некоторое время он сидел молча, положив руки на колени и опустив голову. Руки у него были тонкие, но мускулистые, похожие на двух подвижных зверьков. Он медленно потер их одну о другую, потом остановился и так долго сидел молча, с опущенной головой, что я едва не забыл о его присутствии.

Внезапно он поднял голову и взглянул на меня в упор. «Отчего вы отказывались принять меня?», спросил он. Я ответил, что не верю в Бога. Он полюбопытствовал, убежден ли я в этом, и я сказал, что никогда и не задавал себе такого вопроса: вопрос это по-моему пустой. Тогда он откинулся к стене, прижав руки плаш-

меня к ляжкам. Будто беседуя сам с собой, он сказал, что иногда человек считает себя убежденным в том, в чем на деле не убежден он нисколько. Я промолчал. Он посмотрел на меня и спросил: «Вы согласны или нет?». Я ответил, что это возможно. Во всяком случае я может быть и ошибаюсь, считая, что то или иное меня интересует, но то, что меня не интересует, знаю точно. И именно то, о чем он со мной говорит, меня не интересует.

Он отвел глаза и, не изменяя положения, спросил, не избыток ли отчаяния диктует мне мои слова. Я объяснил ему, что никакого отчаяния не испытываю. Мне страшно, только и всего, и это вполне естественно. «Бог не оставит вас, — заметил он. — Все те, кого я видел в вашем положении, обращались к Нему». Я сказал, что это было их право. Кроме того, у них очевидно было для этого время. Что же касается меня, то я не ищу ничьей помощи, а главное, у меня нет времени заниматься тем, что меня не интересует.

Он сделал жест, выдававший его раздражение, но овладел собой и принялся расправлять складки своей сутаны. Покончив с этим, он снова заговорил со мной, называя меня «другом». Обращение это было по его словам вызвано однако не тем, что я приговорен к смерти: нет, приговорены к смерти все мы. Тут я прервал его, сказав, что это далеко не то же самое, и что мысль его ни в коем случае утешением служить мне не может. «Пожалуй, вы правы, — согласился он. — Но ведь не умрете вы теперь, так умрете позже. Тот же вопрос встанет и тогда перед вами. Как встретите

вы это страшное испытание?». Я ответил, что встречу его точно так же, как встречаю сейчас.

Он встал и взглянул мне прямо в глаза. Эту игру я хорошо знал. Не раз я забавлялся этим с Эмманюэлем или Селестом, и почти всегда отводили глаза они, а не я. Сразу же я убедился, что и священник в этой игре не новичек: взгляд его был неподвижен. Не дрожал и голос его, когда он сказал мне: «Неужели же нет у вас никакой надежды, неужели можете вы жить с мыслью, что умрете весь, без остатка?». Я ответил: «Да, могу». Он наклонил голову и снова сел. Потом сказал, что жалеет меня. Ему казалось, что человек не в силах этого выдержать. А мне он начинал надоедать. Я в свою очередь отвернулся и стал под окном, прислонившись спиной к стенке. Он опять начал меня о чем-то спрашивать, но я плохо следил за его речью. Голос его бы тревожен и настойчив. Я понял, что он волнуется и принялся слушать его внимательнее.

Он выразил уверенность, что я буду помилован, однако, по его мнению, на совести моей останется тяжкий грех, от которого я должен избавиться. Правосудие человеческое — ничто, все в правосудии божеском. Я возразил, что осудило-то меня правосудие человеческое. Он ответил, что греха моего оно не смыло. Я сказал, что не знаю, что такое грех. Мне заявили, что я виновен, и только. Я виновен, я плачу по счету, больше с меня никто ничего требовать не может. Он поднялся и мне пришла в голову мысль, что при желании двигаться в этой тесной камере выбора нет: можно только садиться или вставать.

Глаза мои были устремлены вниз. Он сделал шаг в мою сторону и остановился, будто колеблясь. Взгляд его был обращен к небу, видневшемуся за решеткой. «Вы ошибаетесь, сын мой, — сказал он. — С вас могут потребовать и большего. Может быть и потребуют». — «Потребуют чего?». — «Может быть вас попросят взглядеться». — «Во что взглядеться?».

Священник оглянулся вокруг и в голосе его мне вдруг послышалась большая усталость: «Знаю, стены эти насквозь пронизаны страданием. При виде их у меня всегда сжимается сердце. Но знаю я и то, что самым несчастным из вас случалось различить в окружающем их мраке божественный лик. В него-то я и прошу вас взглядеться».

Я слегка оживился и сказал, что смотрю на эти стены в течение долгих месяцев. Нет никого и ничего на свете, что было бы мне лучше знакомо. Может быть когда-то, уже довольно давно, мне и хотелось увидеть на них лицо. Но лицо это было ярко, как солнце, и пламенно, как вождение: лицо Марии. Искал я его тщетно. Теперь с этим покончено. И так или иначе, не появилось на этих страдальческих стенах ровно ничего.

Священник грустно взглянул на меня. Я вплотную прислонился к стене и лоб мой был освещен. Он сказал несколько слов, которых я не разобрал, и быстро спросил, может ли он меня поцеловать. «Нет», ответил я. Он отвернулся и медленно провел рукой по стене. Потом шепнул: «Неужели же вы так привязаны к этому миру?». Я не ответил ничего.

Так стоял он довольно долго. Присутствие его тяготило и раздражало меня. Я уже собирался сказать, чтобы он оставил меня и ушел, как вдруг он обернулся и вскрикнул: «Нет, я вам не верю. Я убежден, что и вам случалось мечтать об иной жизни». Я ответил, что конечно случалось, но так же, как случалось мечтать о том, чтобы разбогатеть, научиться быстро плавать или иметь красиво очерченный рот. Все это были мечты одного и того же порядка и никакого значения придавать им нельзя. Но он перебил меня и пожелал узнать, как я себе представляю эту иную жизнь. Тогда я крикнул: «Как жизнь, в которой у меня сохранились бы воспоминания о существовании здешнем», и тут же добавил, что все это мне надоело. Он хотел что-то мне еще сказать о Боге, но я подошел к нему и попытался в последний раз разъяснить, что времени остается в моем распоряжении мало. Тратить его на болтовню о Боге я не намерен. Он попробовал перейти на другие темы и спросил, почему я не называю его «отцом», согласно обычаю. В раздражении я ответил, что он мне вовсе не отец: он — сообщник моих врагов.

— Нет, сын мой, — сказал он, кладя мне руку на плечо, — я не на их стороне, а на вашей. Но вы, с вашим слепым сердцем, понять этого не можете. Я буду за вас молиться.

Тут что-то во мне прорвалось, не знаю почему. Я стал кричать во всю глотку, оскорблять его и требовать, чтобы он не смел молиться. Я схватил его за воротник сутаны. То ликуя, то кипя злобой, я вылил на него все, что таилось в глубине моего сердца. Он

верит в то, что проповедует, да? Но вера его не стоит одного женского волоса. Он должен бы сомневаться даже в том, жив ли он, раз живет он как мертвец. В сравнении с ним у меня за душой нет ничего, да? Но я уверен в себе, я уверен во всем гораздо тверже, чем он, я уверен в том, что живу и в том, что вскоре умру. Да, ничего кроме этого у меня нет. Но этой-то истиной я по крайней мере владею, так же как и она владеет мной. Я был прав, я и теперь прав, я всегда был прав. Я жил так-то, а мог бы жить и иначе. Я сделал то-то, но не сделал другого. А что дальше? Все в конце концов свелось к ожиданию брезжущего расвета и минуты, когда правда моя обнаружится. Все — пустяки, все — случайность, и я знаю, почему это так. Он тоже знает. В течение всей моей глупейшей жизни, из недр будущего, сквозь еще непришедшие, неведомые года веяло на меня чем-то темным, и веяние это заставляло меня с одинаковым безразличием воспринимать все происходившее в года пожалуй не менее призрачные. Что мне смерть других людей, что мне материнская любовь, что мне в его Боге, в том или ином образе жизни, в выборе своей судьбы, раз не я ее выбрал, а она, одна-единственная судьба выбрала меня, и вместе со мной миллиарды счастливчиков, называющих себя, как и он, моими братьями! Поймет ли он, поймет ли он наконец все это? Люди сплошь счастливички. Нет никого на свете, кроме счастливчиков. Другим тоже вынесут когда-нибудь смертный приговор. Ему тоже. Какое значение имеет то, что судя человека, как убийцу, казнят его, собственно говоря, за то, что он не плакал на похоронах матери? Собака Саламано ни-

чем не хуже его жены. Женщина похожая на автомат так же виновна, как парижанка, на которой женился Массон, или как Мария, которая хотела выйти замуж за меня. Какое значение в том, что Рэмон был моим приятелем, как был моим приятелем и Селест, который лучше его? Какое значение в том, что Мария теперь целуется с новым Мерсо? Поймет ли он наконец, он, осужденный, поймет ли он, что из недр моего будущего... Я задыхался, выкрикивая все это. Но уже бежали сторожа и с угрозами вырвали священника из моих рук. Он, однако, успокоил их и молча посмотрел на меня. Глаза его были полны слез. Он отвернулся и исчез.

Когда он ушел, я успокоился и в изнеможении бросился на койку. Кажется, я спал, так как очнувшись увидел звезды. Доносившиеся до меня звуки напоминали о близости деревни. Запах ночи, земли и соли освежал мне виски. Чудесный покой этого спящего лета проникал в меня, как морской прибой. Где-то далеко завывали сирены. Это был знак каких-то отбытий в мир, навсегда сделавшийся мне безразличным. Впервые за долгое время я подумал о маме. Мне почудилось, что я понимаю, почему на склоне лет у нее оказался «жених», почему затеяла она эту давно забытую игру. Там, в полях, окружавших приют, где угасали существования, там вечер тоже был чем-то вроде меланхолической передышки. В преддверии смерти мама должна была ощутить себя свободной и готовой все пережить сначала. Никто, никто не был вправе оплакивать ее. И я тоже почувствовал в себе готовность все пережить снова. Вспышка гнева как будто убила во мне зло, ли-

шила меня надежды, и перед лицом этой таинственной звездной ночи я впервые весь отдавался нежному безразличию мира. Поняв, до чего мир мне подобен, как братски он ко мне расположен, я почувствовал, что был счастлив и что счастлив до сих пор. Ради достойного завершения всего пережитого, ради избавления от одиночества, оставалось мне только пожелать, чтобы при казни моей присутствовало множество зрителей и чтобы встретили они меня криками полными ненависти.

Imprimerie BERESNIAK
Paris-11^e

IMPRIMÉ EN FRANCE

Произведения Альбер Камю

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| L'Etranger (1942). | Requiem pour une Nonne. |
| Le Mythe de Sisyphe (1942). | адаптация William Faulkner-1956 |
| Le Malentendu, Caligula (1944). | L'Exil et le Royaume (1957). |
| Lettres à un Ami Allemand (1945). | L'Envers et l'Endroit (1958). |
| La Peste (1947). | Discours de Suède (1958). |
| L'Etat de Siège (1949). | Actuelles III (1958). |
| Noces (1950). | Récits et Théâtre (1958). |
| Les Justes (1950). | Les Possédés, адаптация |
| Actuelles I (1950). | Dostoïevski (1959). |
| L'Homme Révolté (1951). | Carnets 1935-1942 (1962). |
| Actuelles II (1953). | Théâtre (1962). |
| L'Eté (1954). | Carnets 1942-1951 (1964). |
| La Chute (1956). | Essais (1966). |

От 1945 до 1949 года Альбер Камю работал в качестве главного редактора газеты "Комба", которая объединяла вокруг себя политические партии левых направлений.

Наиболее известные произведения Альбера Камю были изданы многомиллионными тиражами в авторизованном переводе на английский, бенгали, венгерский, голландский, греческий, датский, древне-еврейский, исландский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, португальский, сербо-хорватский, финский, чешский, шведский и японский языки.



H. Cartier-Bresson, Magnum

АЛЬБЕР КАМЮ

Альбер Камю родился в Алжире, в городе Мондови, в 1913 году. Его отец был рабочим винного погреба. Он умер, когда мальчику был год и мать Альбера была вынуждена тяжело работать в Алжире, чтобы содержать семью.

После окончания средней школы Альбер Камю поступил на философский факультет Алжирского Университета.

Свои университетские занятия он должен был прервать из-за болезни легких и окончил университет только в 1934 году.

В 1938 году Альбер Камю становится сотрудником газеты "Республиканский Алжир" а некоторое время спустя переезжает во Францию. В 1942 году вступает в Движение Сопротивления в Оверни.

Альбер Камю погиб в автомобильной катастрофе, 4 марта 1960 г. Его первый роман "Незнакомец" вышел в 1942 году.

За этой книгой последовали другие, а в частности, роман "Чума", опубликованный в 1947 году.

Слава Камю быстро росла и в 1957 году он получил Нобелевскую премию по литературе.

Список произведений А. Камю приведен на обратной стороне этой обложки.